

С.Н.Сергеев-Ценский

Севастопольская страда

часть IX

Глава первая. Дни перед боем

Глава вторая. Бой на Черной речке

Глава третья. Пятая бомбардировка

Глава четвертая. Третья сторона Севастополя

Глава пятая. Перед штурмом

Глава шестая. Штурм

Глава седьмая. Переправа на Северную

Глава первая. Дни перед боем

I

Суворовскими маршами, — хотя давно уже начался век пара и рельсовых путей, — шли с юго-запада в Севастополь боевые полки 5-й пехотной дивизии: 17-й пехотный Архангелогородский, 18-й, тоже пехотный, Вологодский, 19-й егерский Костромской и 20-й егерский Галицкий (первые два полка каждой дивизии назывались в те времена «пехотными», вторые два — «егерскими»). А следом за 5-й шла так же браво, уложив солдатские сундучки на обывательские подводы и почти совершенно без отсталых, 4-я дивизия, полки: Белозерский, Олонецкий, Шлиссельбургский и Ладожский. Дальний Север России, звучавший в названиях всех этих полков, шел на помощь атакованному врагами Югу.

В одно время с первыми эшелонами полков 5-й дивизии подтянулись к Севастополю последние дружины курского ополчения, и очень заметны стали среди солдат на северном берегу Большого рейда воины древнерусского облика, с медными большими крестами на картузах: вальковатые, сероглазые, длинные волосы в кружок, русые бороды лопатой, топоры вроде секир или алебард за поясами, в чехлах...

Отбиваться этими топорами или даже штыками от штурмующих колонн они, конечно, могли бы, но стрелять их не успели выучить, и

главнокомандующий, верный своему обыкновению принимать одно за другим несколько решений, сначала хотел влить их в полки, чтобы увеличить число штыков для наступательных действий, потом часть их распределил по батареям для подноски снарядов к орудиям и земляных работ, часть прикомандировал к госпиталям для замены прислуживавших там солдат из полков и матросов, часть отправил на Братское кладбище копать могилы.

Полки же 4-й и 5-й дивизий должны были по диспозиции, составлявшейся в спешном порядке в главном штабе, войти в резерв, предоставив старым, не раз уже ходившим в штыки полкам Крымской армии честь наступления.

Напрасно на совете генералов в Николаевском форте говорил вполголоса и почти шепотом Сакен «тайное» и «весьма тайное» и поднимал палец! Если при Меншикове перед Инкерманским побоищем даже командиры отрядов не вполне ясно представляли, куда именно и какой дорогой им надо вести полки, то теперь, при Горчакове, это знали все: и генералы, и офицеры, и солдаты, и французы, и сардинцы, и англичане, и турки.

Горчаков не то чтобы подражал Святославу, — он не посылал интервентам знаменитого «Иду на вы!», но он совершенно неспособен был держать чего бы то ни было в секрете.

Сакен, как начальник гарнизона, получил от него бумагу с надписью «весьма секретно» и с требованием снять 7-ю дивизию с бастионов и отправить ее на Инкерман в распоряжение генерала Реада, то есть для целей наступления; неприятно пораженный тем, что обессиливается гарнизон Севастополя, Сакен еще только думал, как сообщить об этом начальнику 7-й дивизии, когда неизменный адъютант его, подполковник Гротгус, счел нужным поделиться со своим начальником свежей новостью:

— А знаете ли, ваше сиятельство, все говорят, что у нас отбирают седьмую дивизию для действий на Черной речке!

И все действительно говорили не только об этом, но и о разных других подробностях наступления, и все это становилось известным на левом берегу Черной, и только сам Пелисье долго не хотел верить своему счастью, считая слухи, идущие с правого берега реки, сознательно

распускаемыми хитрецами из главного штаба русской армии, чтобы сбить его с толку, приготовить удар где-то в другом месте.

Однако если даже только демонстрация готовилась со стороны Черной речки, то донесения говорили Пелисье о больших размерах подготовлений к ней.

Неприступность своих позиций на правом фланге Пелисье знал, поэтому писал в донесении на имя военного министра маршала Вальяна:

«Я спокоен за весь свой правый фланг: это одна из тех гористых местностей, где действовать массами не представляется возможным, и неприятель может производить разве только демонстрации».

Чтобы обезопасить себя от них, Пелисье приказал всем батареям быть вполне готовыми к одновременному открытию огня, а пехотным частям усилить охранение, чтобы не быть атакованными внезапно. Вылазка большими силами из Севастополя в направлении на редут Викторию — вот что представлялось Пелисье наиболее возможным со стороны Горчакова, но он переоценивал стратегические способности руководителя русских сил.

II

Очень редко бывало в истории войн, чтобы главнокомандующий большой армией, готовясь к наступательным действиям, проявлял такую нерешительность, такую беспомощность, как Горчаков.

Он волновался ужасно, он вмешивался во все работы своего штаба, подготавливавшего диспозицию, он путал и портил все предположения по нескольку раз в день. Наконец, он вспомнил, что на совете генералов не был — не мог быть, как больной, лечившийся в Бельбеке, — Тотлебен, и так как его нельзя было пригласить на Инкерманские высоты, он отправился к нему сам в Бельбек, приказав заложить лошадей в коляску.

Прогулку эту он совершал, конечно, не в одиночестве, он не переносил одиночества, — это была основная черта его характера.

Когда Меншиков задумывал свою вылазку из Севастополя на Сапун-гору, он делал для этого рекогносцировки сам, подъезжая на своем некартинном муле, в плаще и папахе, как можно ближе к позициям

англичан. Похож ли он был в это время на главнокомандующего? Нисколько. Его не узнавали даже и русские солдаты и простодушно хохотали над каким-то чудаком, длинные ноги которого задевали за землю, когда он елозил на ишаке по косогорам.

Совсем иначе делал свои рекогносцировки Горчаков, начавший заниматься этим еще задолго до совещания генералов.

Свита не менее как в тридцать человек окружала его — и блестящая свита! Одних генералов набирал он для этих парадных выездов побольше десятка, и лошади под ними, конечно, не похожи были на лохматеньких казачьих маштачков — крупные, холеные, они важничали, точно понимая свое положение, — и на многочисленных всадников на прекрасных конях поневоле должны были обращать внимание даже самые ленивые и даже полусонные из солдат линии французских пикетов на левом берегу Черной речки.

Горчаков останавливался то здесь, то там; для порядка рассматривал в трубу неприятельские позиции, хотя и мало что видел. Потом он передавал трубу другим генералам, и все судили, рядили, показывали туда и сюда руками, оценивая вслух силу позиций и трудности подступа к ним с правого берега речки.

В трубы смотрели в это же время на главнокомандующего и его свиту французские офицеры, а потом доносили о своих наблюдениях высшему начальству.

И вот после первой же такой прогулки Горчакова французские инженеры обеспокоенно планировали новые и новые траншеи, и возникали траншеи... После второй его рекогносцировки французы пришли к заключению, что одних траншей, пожалуй, будет мало, и принялись устраивать настоящие укрепления. После третьей, — когда для Пелисье стали вполне ясны цели прогулок Горчакова, — число укреплений было увеличено вдвое, и все они в изобилии снабжены были и орудиями и снарядами к ним, а для сбора пехотных частей на случай нападения русских приказано было подготовить вместительные площадки на Федюхиных горах.

Неизменно сопровождал в рекогносцировках этих главнокомандующего генерал Липранди, мнения которого князь ценил. Липранди не мог не видеть, как укрепляли французы свои

позиции, не систематически, а порывисто: после каждого выезда Горчакова со свитой на их стороне замечалась усиленная работа.

— Что же это такое? Выходит, что от всех этих хлопот князя польза не нам, а только французам! — говорил Липранди.

Да, польза была тем, кто делал свои разведки, забывая о парадах, кто смотрел на войну гораздо проще и деловитей.

Тотлебен не ожидал приезда к себе главнокомандующего. Он занимал небольшой дом в имении Бибиковых и полулежал в качалке на занавешенной от солнца веранде, когда его адъютант разглядел вдали, за клубами пыли вместительную коляску Горчакова, которую конвоировали донские казаки; пики казаков мерно покачивались в такт рыси их коней; адъютантов князя на этот раз не было с ним, но когда коляска подкатывала уже к дому, видно стало, что Горчаков все-таки поехал беседовать с Тотлебеном при свидетелях: с ним были два генерал-адъютанта — Коцебу и барон Вревский — десница его и шуйца.

С крохотным Коцебу, как с давним уже начальником своего штаба, Горчаков привык говорить, как с самим собою вслух; его он без всякого стеснения будил ночью, когда самому ему не спалось от охвативших его опасений, и Коцебу обладал магической способностью успокаивать своего начальника и приводить в необходимое равновесие; он, маленький, выполнял обязанности пестуна, няньки при главнокомандующем, но няньки, приисканной им самим.

Совсем другая роль была у Вревского. Он тоже был вроде няньки при этом длинном, плохо видевшем и плохо слышавшем, весьма рассеянном и обладавшем плохой памятью командующем русской армии в Крыму, но няньки, присланной из Петербурга самим царем при посредстве военного министра; и как раз утром в этот день вторая нянька Горчакова отправила письмо князю Долгорукову:

«Накануне решительных событий позвольте, ваше сиятельство, сказать вам, положив руку на сердце, что если богу будет угодно и князь Горчаков погибнет в этом деле, то честь нашего оружия требует, чтобы преемником ему был назначен человек энергичный и решительный — словом, генерал Лидерс».

Так далеко простиралась заботливость Вревского о своем подопечном,

что он предусматривал даже близкую гибель его и приготовил ему преемника!

Однако, что бы ни ожидало Горчакова через день, он, сделав несколько верст по свежему воздуху не в тряском седле, а на мягком сиденье рессорной коляски, чувствовал себя возбужденно-бодро, расположась на веранде около пытавшегося было подняться ему навстречу и не могшего это сделать Тотлебена.

Две бутылки лимонада — шипучего, холодного, только что с погреба, — поставленные перед высокими гостями, явились хорошим средством для вступления в весьма деловую беседу, и беседа эта, решавшая участь нескольких тысяч человек солдат и офицеров, началась.

— Вам, конечно, небезызвестно, Эдуард Иванович, что был военный совет двадцать девятого числа, — проговорил Горчаков с видом человека, готового на подвиг, но сомневающегося все-таки в том, что этот подвиг будет полезен. — В сущности совет был весьма неполон, очень неполон... Не было генералов Реада и Веймарна — оба сказались больными тогда, — теперь они оба здоровы и оба готовятся к действиям. Но главным образом очень сожалею я, что не было вас.

— Я не мог быть на совете, ваше сиятельство, но я слышал, что участники совета подавали свои письменные заявления, — однако ведь это мог бы и я сделать тоже, если бы получил на то распоряжение вашего сиятельства, — возразил Тотлебен.

— Вот видите! — живо обратился Горчаков к Коцебу. — Это большое упущение с вашей стороны!

Коцебу, усердно глотавший в это время освежающий лимонад, поставил стакан на стол и с тем спокойствием, с каким привык он отражать все вообще наскоки на него главнокомандующего, ответил:

— Прошу, ваше сиятельство, припомнить, что ведь предполагалось не только зачитывать докладные записки, но и личные объяснения по ним давать, что некоторым членам совета и пришлось сделать... ввиду допущенных ими крайностей.

— Да, крайности!.. Эти крайности, может быть, явились бы спасительными в нашем положении, — кто знает, — пылливо глядя на Тотлебена, как на оракула, сказал Горчаков.

— Насколько мне известно, ваше сиятельство, — беспомощно сидя вот

тут, на месте, — решено было перейти к наступательным действиям со стороны Черной, и к этому уже готовятся, но мое запоздалое мнение таково: это не принесет ничего иного, кроме как поражение нашей армии! — очень твердо отозвался на слова Горчакова Тотлебен, не выждав прямого вопроса князя, так как вопрос этот сквозил в его испытующих глазах.

Продолжительные страдания от раны, полученной еще в начале июня, наложили свой отпечаток на этого всегда деятельного, энергичного инженер-генерала. Он спал с тела, похудевшее лицо его вытянулось, побледнело, пожелтело на впавших висках; заметно выступили скулы, и теперь тонкая кожа на них зарделась от волнения.

— Вы слышали? — почти подскочил на стуле Горчаков, обернувшись к барону Вревскому, но Вревский уже и без того смотрел на Тотлебена подозрительными и даже несколько презрительными, пожалуй, глазами.

С самого приезда Вревского в Севастополь Тотлебен числился больным, хотя Горчаков не заменял его никем другим: под его руководством все оборонительные работы вели два инженер-полковника — Гарднер и Геннерих, и Вревский видел, конечно, что это отдаленное руководство приносило уже мало пользы осажденному городу, так как, по приказу Горчакова, ни тот, ни другой из инженеров самостоятельно не мог действовать даже в мелких вопросах обороны, а поездки их к Тотлебену в последнее время отнимали у них много времени. Вследствие этого, например, на Корабельной стороне вместо ста двадцати новых орудий больших калибров успели установить только сорок.

— Поражение будто бы нас ожидает? — насколько мог мягко отозвался Тотлебену Вревский. — На совете решено было наступление не в этих, разумеется, целях. Но ведь бывают также и такие поражения, что вполне стоят победы: Бородинское поражение, например. Не оно ли в сущности подрезало крылья Наполеону?

— Кроме того, пятого числа назначена общая бомбардировка Севастополя, — вставил резким своим, птичьим голосом Коцебу. — Предотвратить эту бомбардировку — вот одна из целей наступательных действий, принятых на военном совете. Потери же

наши от этой бомбардировки будут колоссальными, если мы ее допустим.

Довод Коцебу повторялся им, очевидно, уже несколько раз, и Тотлебен почувствовал это. Миссия Вревского при главном штабе Крымской армии ему была известна и раньше, и другого мнения о наступательных действиях он от него не ждал. Но Горчаков, — он понял это, — приехал в Бельбек совсем не за тем, чтобы зря потратить время почти накануне готовящегося боя: он, колеблющийся, нерешительный, явно приехал сюда за поддержкой. Мгновенно взвесив это и даже как-то физически окрепнув вдруг, Тотлебен заговорил, наклоняясь со своей качалки то в сторону Вревского, то к Коцебу:

— Вы сказали, что поражение иногда бывает равносильно победе. Это есть совершенно верно, но иногда! Но только именно иногда! И даже оч-чень редко, и очень мало можно найти таких пирровых побед в истории войн. А поражений, как поражений, о-о, так их есть сколько угодно. И надо предполагать не то, что бывает иногда очень редко, а то, что сплошь и рядом бывает и часто, кроме того, решает судьбу всей кампании. Бомбардировка генеральная начнется будто бы пятого числа? Но, во-первых, может статься, что не начнется пятого, а позже; во-вторых, если даже допустить, что пятого начнется, то что же делать? Разве она первая бомбардировка? Они стали сильнее, чем были, но, однако, и мы стали сильнее. Пусть за этой бомбардировкой последует генеральный штурм. Тут нас ждет, наверное, та же удача, какая нас посетила шестого июня. А наступательные действия наши, то есть наш штурм очень сильных позиций противника, выгоден кому же еще, как не союзникам? Бомбардировки генеральной мы этим не предотвратим, а поражение наше решит скорую участь Севастополя, — вот мое мнение!

Теперь лицо Тотлебена порозовело сплошь; ему казалось, что он сказал именно то, что нужно было Горчакову, что он только и хотел от него услышать. Но Горчаков вдруг отозвался на это строго:

— Участь Севастополя была предрешена моим злосчастливым предшественником, князем Меншиковым, в сражении двадцать четвертого октября, так называемом Инкерманском... А мне

приходится только пожинать то, что он посеял.

— Я отлично помню это сражение, ваше сиятельство, — в некотором замешательстве уже ответил Тотлебен. — Я был участником этого сражения, — несчастного для нас во всех отношениях. Оно было очень плохо задумано и...

— И еще хуже того проведено, — закончил за него Горчаков. — Операция наша со стороны Черной речки задумана гораздо лучше, не так ли? — обратился он к Коцебу. — Но я не могу, конечно, сказать наперед, как она будет проведена... А перевес сил, примерно тысяч на пятнадцать, неминуемо будет на стороне противника.

— Но ведь если такой огромный перевес в силах противника предполагаете вы, ваше сиятельство, то что же означает «хорошо задуманная операция»? Ведь вести полки наши на прекрасно укрепленные позиции, которые защищает противник, превосходящий в силах, это значит вести их на полный расстрел, чем же они заслужили такую казнь? — в волнении спросил Тотлебен.

Вревский, услышав это, коротко и презрительно усмехнулся, Коцебу предпочел заняться снова отставленным было в сторону стаканом лимонада, а Горчаков спросил вместо ответа кратко и сухо:

— Что же вы намерены предложить?

— Кроме того, что я выразил уже, ваше сиятельство, мне кажется совершенно невозможной задачей утвердиться на Федюхиной и Гасфортовой горах, если даже, предположим это, первоначальный успех, при очень больших, разумеется, жертвах, был бы налицо, — стараясь уже выбирать менее резкие выражения, отвечал Тотлебен. — Поэтому, раз уже решены наступательные действия... наступательные действия против сильнейшего противника, — и в людях и в материальной части тоже, — то мне представляется единственно возможным вести их от наиболее угрожаемого при штурме участка оборонительной линии, то есть от Корабельной. Что избрать при этом путями наступления? Две балки: Лабораторную и Доковую. Идя по ним ночью большими силами, завладеть можно Воронцовской высотой, а оттуда зайти в тыл Камчатского редута и выбить неприятеля.

— Затем? — неприкрыто иронически спросил Вревский.

— А затем, — как бы не заметив иронии вопроса, продолжал, разгораясь, Тотлебен, — чтобы потом всеми совокупными силами двинуться на редут Викторию.

— Потом на Зеленую гору? — тем же тоном спросил Вревский.

— Нет! — энергично ответил Тотлебен. — Распространяться в сторону Зеленой горы нам не должно! На редуте Виктория, равно как и на двух предыдущих пунктах, нам следует укрепиться и ждать атак противника. Вот эта операция способна была бы отдалить падение Севастополя, а действие в сторону Федюхиных высот — это действие будет только на руку нашим противникам и падение города ускорит.

Горчаков выслушал Тотлебена очень внимательно, потом пробормотал:

— Что-то подобное говорил и Хрулев, а? — и посмотрел вопросительно на Коцебу.

— Генерал Хрулев пытался обосновать подобный проект и излагал его долго, но у него мало что вышло, ваше сиятельство, — как знаток всяких штабных тонкостей, ответил Коцебу и обратился к Тотлебену:

— Как думаете вы, Эдуард Иванович, можно было бы для наступления со стороны Корабельной сосредоточить большие силы секретно от неприятеля?

— Очень трудно! Оч-чень большой трудности задача! — тут же отозвался на этот вопрос начальника штаба Тотлебен. — Город открыт для неприятеля со всех сторон, даже и с брандвахты эскадры в море... Очень трудно собрать на Корабельной необходимые силы... Но ведь еще труднее лезть напролом на Федюхины горы... Они и в конце мая были укреплены на редкость, а что там могли сделать за два месяца — это я в состоянии вполне представить.

— Наступление со стороны Корабельной требует подготовки, — раздумчиво проговорил Горчаков, побарабанив по столу пальцами и пожевав губами.

— Непременно, ваше сиятельство: по крайней мере недели две.

— А к тому времени как раз будет готов мост через Большую бухту, ночью же через мост можно провести до пятидесяти тысяч пехоты и артиллерии, — начал раздумывать вслух Горчаков, — так что если мы выдержим бомбардировку и отразим штурм, то... Я над этим подумаю,

Эдуард Иванович.

Лицо Горчакова посветлело настолько, что Тотлебен решился заметить:

— А главное, ваше сиятельство, будут сбережены для этих действий десять, двенадцать тысяч, а может быть, даже и больше человек прекрасных наших солдат, которые совершенно бесцельно погибли при штурме Федюхиных гор!

— Да, бесцельно, вы, разумеется, правы! — покачив головой, согласился Горчаков. — Но ведь вопрос о наступлении со стороны Черной речки не решен еще мной окончательно.

— Как же так не решен, ваше сиятельство? — очень изумился такому легкомыслию главнокомандующего барон Вревский. — Он не только решен на военном совете в положительном смысле, он еще и, что гораздо важнее, вполне соответствует указаниям его величества!.. А вас, ваше превосходительство, — круто повернулся Вревский к Тотлебену, — считаю долгом своим предупредить, что на вас лично падет ответственность перед государем, если вам удастся отклонить его сиятельство от принятого уж решения, которое приводится теперь в исполнение!

Он, всегда такой сдержанный, предупредительный к Горчакову, стал теперь совершенно неузнаваемым, этот барон Вревский! Тотлебену показалось даже, что еще немного, что еще хотя одно возражение с его стороны, и он начнет уже кричать и топтать ногами не только на него, а даже и на самого главнокомандующего, этот начальник одного из департаментов военного министерства.

Раненая нога Тотлебена начала вдруг ныть; ее стало даже, как судорогой, сводить от волнения. Но Горчаков, посопев несколько мгновений плоским своим носом и пошевелив разнообразно губами, спросил его с виду спокойно:

— У вас нет ли в письменном изложении вашего плана наступления от Корабельной, Эдуард Иванович?

— Я начал его писать, но не окончил, ваше сиятельство. Если вы мне дадите день-два, я его закончу и представлю вам, — благодарно глядя на него, сказал Тотлебен. — Но в общих своих чертах он сводится к тому, что в случае нашего успеха осада против Корабельной

неминуемо была бы снята, французы должны были бы очистить все пространство между Килен-балкой и рейдом, англичане сняли бы осадные батареи с Зеленой горы, так как тыл их был бы поражен нами. Наконец, все эти горы снарядов, которые приготовлены союзниками для нашего истребления, все они достались бы нам вместе с их батареями!

— Вашими бы устами да мед пить, Эдуард Иванович! — весело отозвался на это Коцебу, а Горчаков вопросительно блеснул в его сторону очками и сказал, избегая смотреть на Вревского:

— План хорош!.. Если бы можно было его привести в исполнение до пятого числа, то ведь это, это могло бы не только предотвратить генеральное бомбардирование Севастополя, но до ноября могло бы отсрочить его падение, вот что!.. План очень смел, хотя и трудно исполним... Во всяком случае я буду теперь над ним думать.

Вревский, отвернувшись, разглядывал пейзаж, открывавшийся с веранды, и кривил полные губы в презрительную улыбку.

III

Когда Горчаков уезжал с обоими генерал-адъютантами, Тотлебен все-таки пытался убедить себя, что он поколебал главнокомандующего в его преступном (другого слова не мог подобрать он) решении наступать на Федюхины горы, и с той добросовестностью, которая его отличала, принялся с помощью своего адъютанта дописывать план атаки Воронцовской высоты, бывшего Камчатского люнета и редута Виктория; но Горчаков, приехав в главный штаб, был засыпан вопросами, требовавшими его личного вмешательства, и все вопросы эти касались подготовки к наступлению от Черной реки.

Подготовка эта шла на всех парах; войска скоплялись на Мекензиевой горе, собиралась артиллерия, сообразно составленной уже и подписанной им же диспозицией, и Горчаков убедился в том, что отменить или даже изменить крупно что-нибудь в том, что делается, он уже не может: решенное должно было совершиться так или иначе.

И чтобы заранее вымолить себе оправдание, он принялся писать письмо министру князю Долгорукову:

«Завтра я начинаю сводить счета по наследству, которое оставил мне

князь Меншиков.

Я наступаю против неприятеля потому, что если бы я и не сделал этого, Севастополь был бы все-таки потерян в весьма короткое время. Неприятель действует медленно и осмотрительно; он собрал баснословное количество снарядов в своих батареях, — это видно простым глазом. Подступы его стесняют нас все более и более, и нет уже почти места в Севастополе, которое не было бы подвержено выстрелам. Пули свистят на Николаевской площади.

Нечего себя обманывать, я атакую неприятеля при скверных условиях. Занимаемая им позиция очень сильна. На его правом фланге находится почти отвесная и сильно укрепленная Гасфортова гора; на левом фланге — Федюхины горы, перед которыми течет глубокий канал с каменными одеждами, наполненный водой, и через который переправа возможна не иначе, как по мостикам, накидываемым под огнем неприятеля, действующего в упор. Для довершения удовольствия у меня нет воды, чтобы остановиться против неприятеля на двадцать четыре часа времени. У меня сорок три тысячи человек пехоты; если у неприятеля есть здравый смысл, он выставит против меня шестьдесят тысяч.

Если счастье будет мне благоприятствовать, на что я мало надеюсь, я постараюсь воспользоваться моим успехом. В противном случае надо будет покориться воле божией. Я отойду на Мекензию и увижу, как очистить Севастополь с возможно меньшими потерями. Я надеюсь, что мост через бухту будет готов вовремя и что это облегчит дело...»

Закончил он письмо своим обычным припевом:

«Если дела получают дурной оборот, меня нельзя будет в этом винить: я сделал все, что было возможно, но со времени моего прибытия в Крым задача была слишком трудна. Прошу вас припомнить данное мне обещание оправдать меня в свое время и на своем месте».

Так главнокомандующий, не имеющий мужества отказаться от выполнения «высочайших указаний» и готовивший русскую армию к заведомому разгрому, заботился о чистоте своих риз!

Армия же не могла не верить в то, что «начальство — оно знает, что делает». В армии был большой боевой подъем. Армия рассуждала просто: «Будем наступать — значит, наша взяла!» Прежде ведь,

несколько месяцев подряд, о наступлении не было даже и разговоров. Армия, стоявшая на Инкерманских высотах и дальше на восток лагерным порядком, конечно, должна была почувствовать себя вдвое сильнее с приходом 4-й и 5-й дивизий и с возвращением из севастопольского гарнизона 7-й, замененной там курскими дружинами.

Полки за полками, несчетные на взгляд, стены чуть колыхавшихся и ярко блестящих на заходящем солнце штыков двигались бодро и весело вечером 2 августа на Мекензиевы горы, где становились на дневку перед боем.

Горчаковский главный штаб выдвинул двух генералов, которым вручал наступление, Липранди и Реада, командира третьего пехотного корпуса, генерала от кавалерии.

Чтобы не участвовать в военном совете, который должен был непременно вынести решение наступать, Реад заблаговременно подал Горчакову рапорт о болезни, а его примеру, конечно, должен был последовать начальник штаба его корпуса генерал-майор Веймарн, впрочем, действительно чем-то заболевший в острой форме.

Но когда военный совет уже состоялся, Реаду ничего больше не оставалось, как выздороветь и принять начальство над отрядом, назначавшимся для штурма Федюхиных высот; Липранди же во главе другого отряда должен был занять Гасфуртову гору.

Обе возвышенности эти были природные крепости, обрывистыми и местами отвесными скатами своими обращенные к Черной речке, отлогими же — в сторону Балаклавской долины. Гасфуртову гору занимали две дивизии сардинцев, Федюхины высоты — три дивизии французов.

Резервы их расположены были позади высот и дальше до деревни Кадык-Кой. Кроме бригады сардинцев, в число их входило до десяти тысяч турок, две кавалерийские дивизии — французские, африканские егеря и английская дивизия генерала Скарлетта и другие войска.

Но рядом с Федюхиными высотами стояла неприступно укрепленная Сапун-гора, откуда при наступлении русских должны были, по приказу Пелисье, спуститься к генералу Гербильону, руководившему

обороной Федюхиных, еще две дивизии пехоты — генералов Дюлака и д'Ореля.

Таким образом, именно те самые шестьдесят тысяч, которые предполагал Горчаков встретить у неприятеля, «если у него есть здравый смысл», ему и противопоставлялись; в отрядах же Липранди и Реада было в первом — шестнадцать, во втором — пятнадцать тысяч, считая с кавалерией и орудийной прислугой.

Резервы, конечно, назначены были в диспозиции тому и другому, и как раз весь только что пришедший к Севастополю второй корпус, то есть 4-я и 5-я дивизии, был оставлен в резерве, как не успевший еще отдохнуть с дороги и незнакомый с местностью. Кроме того, были выделены особые вспомогательные отряды для обеспечения фланга и наблюдения за Байдарской долиной, откуда можно было ожидать наступления противника, в случае если бы атака не удалась.

В общем, считая с резервами и фланговыми мелкими отрядами, Горчаков собрал не сорок три тысячи, как он писал военному министру, а около шестидесяти, но из них свыше двенадцати тысяч было кавалерии, оказавшейся совершенно бесполезной, точно так же как из трехсот с лишком орудий, назначенных для участия в деле, действовать пришлось весьма немногим.

Глава вторая. Бой на Черной речке

I

В штабе Меншикова, который после Инкерманского побоища пришел к необходимости завести штаб, совсем не было генералов, кроме самого начальника штаба Семякина, бывшего тогда генерал-майором.

Горчаков, в полную противоположность своему предшественнику, любил блеск и представительность, и штаб его был перенасыщен генералами.

Один из них, генерал-квартирмейстер Бутурлин, который вместе с другими штабными подал свой голос за наступление со стороны Черной речки, был послан Горчаковым исполнять свои прямые обязанности — наблюдать за тем, чтобы движение войск шло

правильно по составленной диспозиции.

Пехотных частей, равно как и артиллерийских, вводилось в действие много. Спускаясь в сумерки и ночью с Мекензиевых гор в долину реки Черной, каждый полк и каждая батарея должны были идти назначенной им дорогой, чтобы избежать путаницы и неизбежной с нею потери времени, — самого дорогого времени, — перед боем.

Многие части не знали местности настолько, чтобы разобраться в направлении в ночные часы, Бутурлину же местность была отлично известна: она больше двух месяцев была ежедневно перед его глазами, он был неизменный участник всех рекогносцировок главнокомандующего, при его посредстве писалась и диспозиция, и было вполне естественно ему самому расставить войска накануне боя так, как это представлялось воображению всего горчаковского штаба. Бутурлин выехал с вечера, приказав захватить для себя ковер из своей палатки.

Добравшись до бивуака 7-й дивизии, которой командовал генерал-лейтенант Ушаков 3-й, брат дежурного генерала при Горчакове Ушакова 2-го, он здесь плотно поужинал, расстелил ковер и улегся спать, предоставив важнейшее дело, за которым должен был следить простым жалонерам.

Дебушировали{106} с высот в долину полки, тянулись за ними орудия, зарядные ящики, фургоны — и все это в темноте, в беспорядке, с надсадными криками, с крепчайшими из русских ругательств, а Бутурлин в это время спал безмятежно.

Его разбудили только перед утром, когда стало известно, что к редуту, называемому «Новым», приехал сам Горчаков со всем штабом. Это было в два часа ночи, ровно за полчаса до начала наступления.

Не так много воображения нужно было для того, чтобы представить, где будет находиться хвост колонны в то время, как головная часть ее должна уж будет ввязываться в бой; даже и расчет движения по местности не представлял труда, так как дорога, по которой спускались с Мекензии войска, была единственной. И все-таки не хватило для этого воображения в штабе Горчакова, и расчет движения колонн сделан не был.

В стороне же от дороги густо торчали кусты дубняка и карагача,

поднявшихся за лето от пеньков срубленных и спиленных деревьев, и здесь шли одиночки солдаты и офицеры, пробирались верховые, но ни колонны пехоты, ни тем более артиллерийские упряжки пускать здесь было нельзя.

Эта ночь перед боем прошла в непрерывном движении полков и батарей по дороге в долину, где должны они были занимать свои исходные места.

У всех солдат были полные манерки воды ввиду безводья тех гор, которые полагалось им захватить у неприятеля в результате утреннего боя.

Несколько икон божьей матери было в главной квартире, была и Касперовская, подаренная Горчакову архиепископом Иннокентием и особенно им рекомендованная, но Горчаков все-таки предпочел ей Смоленскую и перед ней на коленях в молитве провел ночь, прежде чем появился на бивуаках.

Спать, как Бутурлин, он не мог, слишком большая ответственность ложилась на него за исход предстоящего боя, но он мог бы окончательно продумать цели наступления, так как в диспозиции, полученной от него как Реадом, так и Липранди, эти цели указаны не были, напротив — было сказано, что после первых успешных действий наших войск им, главнокомандующим, будут даны на месте указания для дальнейших действий.

Он мог бы подумать и над тем, почему Реаду, задача которого атаковать Федюхины горы была гораздо труднее, чем задача Липранди, дано было в командование только двадцать пять батальонов, тогда как Липранди — тридцать один батальон... Ключом позиций правого фланга союзников являлись, конечно, Федюхины горы, сильнее укрепленные и занятые гораздо большим гарнизоном, чем гора Гасфорта.

Наконец, он мог бы определить совершенно точно время для начала действий того и другого отряда, так как это имело большое значение при отсутствии связи между ними, тем более что связь эту в ночное или хотя бы предутреннее время трудно было и наладить так, чтобы приказания передавались без задержки на местности, пересеченной речкой, каналом и, кроме того, заполненной войсками, сквозь которые

нужно было пробиваться конным ординарцам и адъютантам.

Но если Горчаков не мог решить до начала сражения, что ему нужно было предпринять потом, в случае первоначальной удачи, зато Пелисье до мелочи знал все планы русского главного штаба вплоть до вылазки, которая готовилась в сторону редута Брисьема, бывшей Камчатки, и в случае удачи наступления на Гасфуртову и Федюхины горы. Об этом наступлении сообщалось даже в одной из венских газет, только газета приурочивала его к 6/18 августа.

Одно за другим поступали к Пелисье от разведчиков и лазутчиков донесения о больших передвижениях русских полевых войск, и наступления ждали на позициях интервентов еще 1/13 августа, когда несколько дивизий стояли в ружье всю ночь до рассвета; никто не спал там и в следующую ночь, так что утром кое-кто из французских генералов склонен был уже верить тому, что венская газета права.

Но на 5/17 августа назначено было начать пятое по счету и самое жестокое бомбардирование Севастополя, а это едва ли дало бы Горчакову возможность предпринять свое наступление. Так не только генералы, подчиненные Гербильону, но и сам Гербильон, все колебались в уверенности, что русские войска успеют, наконец, собраться с силами, чтобы напасть на них. Гарнизоны укреплений оставались, конечно, на своих местах, но напряженность ожидания несколько упала, тем более что прошла уж большая часть ночи с 3/15 на 4/16 число.

И вдруг раздались первые пушечные выстрелы, направленные на Гасфуртову и Телеграфную горы: это левое крыло отряда Липранди, находясь под командой генерала Бельгарда, выйдя к деревне Чоргун и заняв деревню Карловку, исполняло то, что должно было исполнить по диспозиции.

Над рекой по всей долине стоял плотно густой туман, сквозь который едва серела предрассветная полоса на востоке, и в этом тумане и тишине загрели, будоража гарнизоны неприятельских укреплений, четырнадцать орудий, осыпая снарядами гору Гасфорта, и восемнадцать, действовавших против Телеграфной горы.

Эта гора, расположенная на правом берегу Черной, была предмостным укреплением союзников и занята была сардинцами, как и Гасфуртова.

Пушечная пальба была не беспорядочной, а выдержанной, и это понравилось одному из казаков конвоя Горчакова, и в промежутке между выстрелами он похвалил артиллеристов:

— Пришибисто бьют наши! Не пускают пороху прахом...

Слово «пришибисто» пошло гулять между адъютантами князя, дошло до него самого, и он заторопился, забеспокоился:

— А что же отряд Реада? Пора и ему начинать!.. Поезжай сейчас же, — обратился он к подполковнику Красовскому, — скажи генералу Реаду, что пора начинать!

— Слушаю, ваше сиятельство! — И Красовский повернул коня и ринулся вниз по дороге, ведущей к отряду Реада.

II

Командир третьего корпуса Реад был уже стар, как и полагалось генералу от кавалерии, однако не настолько, чтобы не видеть трудность, если не полную безнадежность выпавшей на него задачи.

Когда-то в молодости он был участником почти всех сражений русских войск с Наполеоном, отличился в Польской кампании тридцать первого года, наконец долго служил на Кавказе, которым и управлял временно перед переводом в Севастополь.

У него был большой военный опыт, и не зря томили его тяжелые предчувствия перед боем на Черной.

Он и о «месяце с левой стороны» вспомнил в эту ночь.

— Вы с какой стороны увидели месяц? — спросил он своего адъютанта ротмистра Столыпина.

— С правой, ваше высокопревосходительство, — политично ответил Столыпин, не заметивший, впрочем, с какой именно стороны увидел он в первый раз в эту ночь месяц.

— А я так с левой, — сумрачно отозвался ему Реад. — Говорят, что это плохая примета.

После этого короткого и маловразумительного разговора он в своей палатке уселся писать письмо своему семейству, письмо прощальное, тоскливое и самое серьезное из всех когда-либо писанных им писем.

Спустя несколько минут после того, как левое крыло отряда Липранди начало обстрел стоящих перед ним высот, Реад приказал своей

артиллерии открыть канонаду по Федюхиным высотам, и минут двадцать длилась уже эта канонада, когда перед Реадом возник в утреннем тумане зловеще серым пятном посланец Горчакова.

— Ваше высокопревосходительство, его сиятельство изволили приказать начинать! — отрапортовал без передышки Красовский.

— Что значит это самое «начинать»? — удивленно спросил его Реад. — Что такое я должен начинать?

Около него был в это время и начальник штаба его корпуса генерал Веймарн, чувствовавший себя снова больным в сырой долине реки.

Он только что вернулся со стороны батарей отряда; начальник артиллерии сказал ему, что открытый было огонь по Федюхиным недействителен, что снаряды падают ближе укреплений противника.

— Я приказал прекратить бесполезную трату снарядов, — доложил Веймарн Реаду.

— А тут как раз вот приказание от князя передают мне: начинать! Что же именно должен я начинать? — снова обратился Реад к подполковнику Красовскому.

— Я не могу сказать в точности, что именно начинать, но, по-видимому...

— Если начинать артиллерийскую подготовку атаки, то мы ее уж начали! — рассерженно выкрикнул Реад.

— И прекратили, — дополнил Веймарн.

— По-видимому, слово «начинать» относится к сражению, — докончил, что думал сказать, Красовский.

— К сражению? Я сражение начал уже, можете передать это князю!.. Я продвину артиллерию ближе, чтобы не было недолетов.

— Мне кажется, что слово «начинать» равносильно было слову «атаковать», — возразил Красовский уверенным тоном штабного офицера.

— Атаковать? — очень удивился Реад. — General, — обратился он к Веймарну, — *il faut attaquer!*{107}

— Как так атаковать? Без выстрела атаковать высоты? Не может быть!

— испуганно отозвался Веймарн.

— Однако таково приказание князя, вы слышали?

Красовский молчал, так как успел уже потерять уверенность, а

Веймарн горячо заговорил, желая убедить Реада в том, что он не так понял приказание:

— Ваше высокопревосходительство! Это недоразумение, не больше! Атака безусловно преждевременна! Войска не вышли еще на линию, не заняли своих мест. Наконец, кавалерийский полк должен стать на нашем правом фланге, а где он? Его еще нет, верный признак, что атаковать рано!

— Господин полковник, еще раз: как было вам сказано князем? — торжественно обратился снова к Красовскому Реад.

— Мне было сказано: «Передайте, что пора начинать!» — вот и все, что было мне сказано, — повторил как изученное посланец Горчакова.

— Отлично, начнем! — еще торжественнее сказал ему Реад. — Так как артиллерийскую стрельбу мы уже начали и бросили, то теперь нам остается только начать атаку пехотными частями! Передайте его сиятельству, что мы идем в атаку.

Красовский, не теряя больше ни секунды, отъехал искать князя, а Веймарн все еще не мог прийти в себя от явной нелепости и полученного приказа и того положения, в какое попал благодаря этому весь отряд.

— Нужно подождать другого приказания князя, — попробовал он в последний раз убедить своего начальника.

— Как другого приказания? — удивился Реад.

Он был новым в Крыму человеком и не вполне еще успел изучить Горчакова. «Приказание, контрприказание, отмена приказания», — этого ожидал Веймарн, но Реад пришел к мысли, что Горчаков захотел воспользоваться туманом и ранним утром, что спустя полчаса, например, идти в атаку придется уже под первыми лучами солнца.

— Мне кажется, нужно несколько подождать, — сказал Веймарн.

— Je ne peu pas attendre; j'ai l'ordre du Prince{108}, — категорически возразил Реад. — Вы двинете вперед для атаки Одесский полк!

Веймарну теперь ничего уж не оставалось больше, как подчиниться чему-то заведомо нелепому, чему безропотно должны были подчиниться и солдаты Одесского, а за ним и двух других полков славной 12-й дивизии.

Этой дивизией командовал теперь генерал Мартинау, а Одесским полком — полковник Скюдери, отличившийся в Балаклавском сражении 13 октября.

Обычно жизнерадостный и веселый, Скюдери в эту ночь одержим был мрачным предчувствием и, когда получил приказание строить свой полк в колонны к атаке, удивленно возразил только:

— Кто же атакует укрепленные позиции без бомбардировки? — и, не получив на этот вопрос ответа, добавил: — Вот оно! Началось!..

Атаку на Федюхины высоты нельзя было вести, не овладев каменным мостом через Черную, а мост этот, называвшийся Трактирным от бывшего здесь раньше трактира, прикрывался укреплением с правого берега реки.

— Выбить неприятеля из укрепления, овладеть мостом, переправиться через реку — по мосту, вброд и потом... вести полк свой в атаку на Федюхины, — тоном приказа, делового, точного, краткого, обратился к Скюдери командующий дивизией.

Скюдери повторил приказание:

— Выбить из укрепления... Занять мост... Переправиться... Вести в атаку...

Оценив по достоинству, по степени трудности каждое из этих четырех действий, заданных его полку, Скюдери покачал головой, безнадежно махнул рукою и бодрой, твердой походкой направился к четвертому батальону своего полка, стоявшему впереди трех других.

Четвертый батальон стоял уже построенный в ротных колоннах, с легкой артиллерией в интервалах между рот; остальные батальоны построены были в колоннах к атаке, то есть сплошными массами.

Но впереди четвертого батальона выстроились две роты стрелков, составляя цепь штуцерников... Все были готовы. Барабанщики застыли на своих местах, подняв палочки над барабанами. И солдаты и офицеры были в шинелях, как это вошло в обыкновение при ночных боях в Севастополе, какие бы жаркие ни стояли дни. Впрочем, у реки, в тумане вполне впору была шинель.

Вот сильная ружейная пальба поднялась вдруг влево, у сардинцев, на Гасфорте. Мартинау, появившись перед Скюдери, закричал:

— Артиллерию вперед! Прикажите сниматься с передков!.. Открыть

ружейный огонь!.. Что же вы! Там уж атака!..

Он указал рукой влево и кинулся сам торопить артиллерию. Пальба началась. Она подействовала на солдат, как удар по их тесно сплоченному локтями серошинельному телу. Вперед их летели ядра, и пули, и картузы картечи, вот-вот раздастся команда их командира полка, затрещат барабанщики, и они бросятся вслед за свинцовым горохом туда, где пока еще почему-то тихо, — притихли враги...

Пять минут... десять... Всё хлопают частые выстрелы легких орудий, дым смешался с туманом, разрываемым в клочья, как каляная парусина, то ружейными залпами, то одиночными выстрелами стрелков впереди...

Становится как-то даже неловко, неудобно, тесно стоять без движения на одном месте, когда давно уже приготовились к сильному, порывистому броску тела...

Но вот ординарец Реада, юнкер, неокрепшим, ломающимся, козлиным каким-то голосом проверещал, подъехав:

— Одесскому полку занимать мостовое укрепление!

— Одесскому полку!.. Занимать укрепление! — пошла передача в рядах с тыла на фронт.

Полковник Скюдери подтянулся, стал перед тринадцатой ротой и совершенно спокойно и громко, точно смертный приговор произнес своему полку, скомандовал:

— Ба-та-ль-оны впе-ре-ед! Дирекция на середину! Скорым шагом, марш!

Однообразно, будто гвозди вбивали в спину впереди идущих, колотили в барабаны барабанщики; батальоны двинулись в атаку, отбивая шаг.

III

Французы не отвечали ни на артиллерийскую стрельбу, ни на огонь стрелковых команд в цепи: могло показаться, что предмостное укрепление было очищено загодя, ночью. Но только что пошел в атаку Одесский полк, как ожило и зашевелилось там все и тут же окуталось густым пороховым дымом, и в движущиеся без выстрела стены русских каждая дождавшаяся своего момента вражеская пуля била без

промаха.

Только ли это, однако? Нет, — все горы впереди заревели вдруг и задымились, бросая навстречу одессцам давно уже приготовленные для этого запасы сплошных и полых снарядов, а также и пуль.

Небо стало уже светлым и чистым этой изумительной, сквозящей и опьяняющей утренней чистотой, хотя солнце еще не выкатывалось из-за горизонта, но вся долина Черной речки была в белом густом тумане и дыму. И в этом дыму и тумане, роняя убитых и тяжело раненных и тут же смыкаясь вновь, сверкая иногда, в разрывах тумана и дыма, холодной синью штыков, шагал вперед четвертый батальон под четкую дробь барабана.

Таившиеся в предмостном укреплении зуавы не вынесли вида этой движущейся на них лавины; прекратив пальбу, они бросились толпами кто через мост, кто прямо вброд через речку, на другой берег.

Верные своей боевой тактике, они открыли было пальбу оттуда, с того берега, но пальба эта была недолгой: миновав укрепление, тем же быстрым и ровным шагом одессцы двинулись на мост шестирядной колонной. Однако на мост были заранее направлены пристрелянные французские пушки с Федюхиных высот. На мосту, при разрыве гранаты, был убит командир четвертого батальона и еще несколько офицеров выхвачено было из первых рядов.

Но идущая следом за тринадцатой ротой четырнадцатая по команде своего ротного свернула влево от моста, пятнадцатая — вправо, и солдаты тем же густым строем входили в реку, с первых же шагов погружаясь выше щиколотки в топкое илистое дно.

Дальше дно делалось тверже, вода становилась глубже; на середине реки она доходила почти до плеч, но люди шли бодро. Они видели перед этим, как здесь же поспешно перебирались вброд французы из укрепления, — они гнались за бежавшим от них противником, они входили в азарт борьбы.

Ровно на пуд тяжелее стали их шинели, насквозь пропитавшись речной водой; хлюпала вода в сапогах, с которых солдаты старались на бегу сбросить налипшую грязь, строясь проворно снова в колонны на вражеском берегу.

Колонны построились к атаке, но многих уже не оказалось в рядах

солдат. А между тем вверху грохотали горы, и грохот этот заглушал ружейные залпы первой линии укреплений... Рвались снаряды, пели пули, выносились вперед, проскочив через мост, упряжки русской артиллерии, раздавались то здесь, то там протяжные и звонкие крики команд молодых офицеров, становившихся на место убитых и раненых майоров и капитанов: огненное начинало подыматься солнце...

К Трактирному мосту подходил уже третий батальон одессцев, — русский берег реки теперь уже сплошь желтел солдатскими шинелями, а здесь, на французском берегу, сквозь туман и дым возникли вдруг перед четвертым батальоном три конных офицера, все в черных эспаньолках, в пирамидальных кепи, на красивых конях.

Они тут же повернули назад, увидя, что далеко зарвались, и вдогонку им кое-кто из солдат без команды разрядил свои ружья. Но пальба с гор почему-то вдруг сразу утихла: это говорило о контратаке французов; это значило, что были двинуты какие-то силы, чтобы остановить натиск русских в самом начале.

Против передового батальона одессцев, значительно уже поредевшего и тяжелого, только что перебравшегося через реку, шел свежий и легкий, с распущенным знаменем, с конными офицерами впереди, батальон французов.

Даже издали, сквозь завесу тумана и дыма, видно было, что шел он быстро, веселым, как бы танцующим маршем; ряды его были разомкнуты, и это еще больше подчеркивало легкость движения противника.

Офицеры Одесского полка шли в атаку наряду с солдатами, только впереди их; это введено было затем, чтобы уменьшить среди них потери: офицер на коне представлял слишком заметную и заманчивую цель для неприятельских стрелков. Знамен тоже не было выдано батальонам 12-й дивизии, знамена остались в лагере на Мекензии.

Никакой красоты и картинности не оказалось у солдат и офицеров; этим щегольнули французы, приготовившие им встречу. Это у них гарцевали на конях командиры; у них развевалось празднично знамя; они, казалось, шли на штыковой бой, как на пир.

Шли, да, но не дошли все-таки, потому ли, что серьезен был вид одессцев, двигавшихся на них плотной и тяжелой массой, под

барабаны и со штыками наперевес, потому ли, что такова была тактика их... Они остановились вдруг по команде, повернули назад и очень быстро и четко рассыпались в цепь, тотчас же открывшую частую пальбу.

Скюдери — этот молодой, всего тридцатисемилетний полковник, еще в сражении с турками при Ольтенице на Дунае весь израненный пулями и картечью и с тех пор державший левую руку на повязке, командовал четвертому батальону развернуться для принятия боя, выдвинув на фланги тринадцатой роты четырнадцатую и пятнадцатую, а шестнадцатую оставив в резерве.

Это была сложная команда, и сложно и трудно было исполнение ее под огнем противника, который, стреляя, отходил на дистанцию, недоступную для знакомых уж ему гладкоствольных русских ружей.

Вдруг одна за другой две пули пронизали правую ногу Скюдери выше колена. Он не мог уже идти вместе с полком, хотя и чувствовал, что кость цела; однако не захотел он, чтобы отправили его на перевязочный.

— Чтобы я бросил свой полк? — удивился он, когда к нему подошли с носилками. — Что вы, братцы! Подсадите-ка меня лучше на батарею.

Его устроили на батарее, но новая пуля нашла его и здесь: она пробила левую руку, которой не мог он владеть, и прошла через грудь навывлет.

Санитаров близко не оказалось, и полковой адъютант, поручик, взвалил своего полкового командира на плечи и понес его к Черной речке, где передал с рук на руки унтер-офицеру Одесского же полка.

Мост был в это время забит одессцами третьего батальона, шедшего на поддержку четвертому, поэтому унтер-офицер, только что перешедший вброд речку, поднял, как мог, выше полковника и вторично пошел с ним вброд на только что оставленный берег, к перевязочному пункту.

Когда старший врач перевязочного пункта хотел отрезать ногу Скюдери, тот, бывший в полном сознании, сказал ему:

— Я вижу, что вы хороший человек. Возьмите мои часы на память обо мне, но ногу мою оставьте уже умирать вместе со мною: я ведь чувствую, что уже умираю, — холодеют пальцы.

Однако, умирая, он беспокоился все время только о своем полку. На перевязочный пункт приходило много раненых его солдат и офицеров, и носильщики приносили много других с тяжелыми ранениями.

— Боже мой! — сокрушался он. — Пропал полк!.. Расстреляли полк!.. Чего же другого было можно и ждать от этой затеи?

— Потери большие, но полк существует еще, — утешали его раненые офицеры. — Полк выведен из боя, — теперь азовцы пошли вперед.

— А знамя, знамя цело? — тревожно спрашивал Скудери и смотрел пытливо.

— Полковое знамя при полку как было, так и остается, — отвечали ему.

— Ну, слава богу, теперь я умру спокойно: Одесский полк не выбросят, значит, из русской армии!

И Скудери умер через два часа после того, как попал на перевязочный.

IV

Телеграфная гора довольно беспечно краснела кое-где бивуачными кострами сардинцев, когда начали вдруг сыпаться на нее, еще в предутренней темноте, русские ядра и бомбы.

3/15 августа союзники праздновали день рождения императора французов, так что и весь соединенный флот расцветился в этот день гирляндами флагов, костры на Телеграфной горе являлись, может быть, следствием затянувшихся несколько праздничных настроений итальянцев, но они быстро потухли, чуть только загремела канонада.

Правым крылом своего отряда, состоявшим из полков 17-й дивизии, распоряжался сам Липранди, однако и командовавший этой дивизией генерал-майор Веселитский был боевой командир.

Сам признанный храбрец, он требовал от своих солдат, чтобы в траншеях под обстрелом проходили они, выпрямившись во весь рост, как на смотре, отнюдь не сгибаясь и не моргая глазами.

Правда, он и сам иначе не ходил по траншеям, выказывая полное презрение к пулям, но солдатам такая бравада стоила многих и совершенно лишних жертв, и все-таки дивизия его уважала, несмотря на его строгость: все прощалось ему солдатами за его храбрость.

В первый раз при нем 17-я дивизия участвовала в большом деле, но они уже успели узнать друг друга — дивизия и ее командир, и дивизия верила в него, он — в дивизию.

Когда получено было от Липранди приказание, чтобы после короткого артиллерийского обстрела занять Телеграфную, Веселитский выдвинул для обстрела одну батарею, для атаки один батальон Тарутинского полка, и едва батарея успела сделать по два выстрела на орудие, он послал уже тарутинцев в атаку.

Сардинцы так же не имели намерения до последней капли крови отстаивать свое предмостное укрепление, как французы свое. Очень легко выбили их тарутинцы из первой линии траншей, зато, отступив во вторую, сардинцы подняли оживленнейшую стрельбу, но на помощь передовому четвертому батальону шел уже третий, и штыкового боя не вынесли сардинцы: они бежали по мосту, перекинутому ими заранее, на другой берег Черной.

Саперы по приказу Липранди принялись засыпать часть траншей, чтобы по ним ввезти орудия на вершину Телеграфной и отсюда обстрелять Гасфортову гору. Это была веселая работа. Саперам помогали со всех сторон, и вот уже дюжие, гривастые артиллерийские кони, нагнув головы и кося глазами, потащили тяжелые пушки на только что отбитую позицию.

Горчаков оповещал в диспозиции, что будет находиться около «Нового» редута, куда и должны были мчаться к нему за приказаниями и с донесениями адъютанты командующих отдельными отрядами генералов, но чуть только сказали ему, что русские пушки начали палить с Телеграфной горы, он был так обрадован этим быстрым успехом Липранди, что тут же забыл о диспозиции и со всей своей свитой, бросив «Новый» редут, поскакал на Телеграфную.

Впрочем, не только один боевой азарт овладел Горчаковым в тот момент, когда он решился бросить «Новый» редут. В диспозиции сказано было, чтобы после первых успехов своих отрядов командующие ими генералы Липранди и Реад ожидали дальнейших указаний главнокомандующего. Так как первый успех выпал на долю Липранди, то к нему и направился Горчаков, чтобы там, на месте, на Телеграфной горе, осмотревшись и взвесив все шансы, решить, как

действовать дальше.

Гасфортова гора обстреливалась уже с двух сторон, — и из отряда Бельгарда и с Телеграфной, когда проявился Горчаков, встреченный Веселитским и Липранди.

Конечно, первое, что сделал Горчаков, это потребовал трубу, чтобы осмотреть с занятой высоты позиции противника, хотя было еще рано, серо, туманно, а он плохо различал предметы вдали даже и в самый яркий день.

Он, однако, смотрел в трубу ретиво и долго. Время шло, — нужно было действовать... Липранди недовольно сказал несколько отделившемуся от князя Коцебу:

— Нужно начать атаку Гасфортовой горы, иначе мы упустим момент, Павел Евстафьевич. Видите, как кишат сардинцы на Гасфорте?

Было, конечно, видно и без трубы, что сардинцы стянули уже на Гасфортову гору на одном склоне, с фронта, большие силы, но не меньшие и на другом склоне, обращенном к Федюхиным высотам.

Вся армия сардинцев была собрана для встречи русских: с фронта стала дивизия генерала Дурандо, с левого фланга — Тротти, с правого — бригада Джустиниани. Кроме того, в помощь сардинской артиллерии, расположенной на высотах вправо от Гасфорта, гаубичная батарея англичан спешила на рысях из резерва.

— Ваше сиятельство, — осторожно обратился Коцебу к Горчакову, — я полагаю, что самое удобное время для атаки Гасфортовой горы именно теперь, а то светает быстро — это увеличит потери.

— Да, да, я сам прихожу к этой мысли, — заспешил Горчаков, отрываясь от трубы.

Однако он медлил еще минут десять, раздумывая и предоставляя своему начальнику штаба изощряться в доказательствах выгоды немедленно атаковать гору.

Наконец, был послан адъютант к генералу Бельгарду с приказом вести свой отряд на штурм, а другой адъютант — к начальнику 5-й дивизии: эта дивизия ускоренным маршем должна была идти на поддержку Бельгарду.

И оба посланные главнокомандующим адъютанта успели, насколько могли быстро, передать приказания и Бельгарду и начальнику 5-й

дивизии, генералу Вранкену, и уже двигался первый со своими полками — Симбирским и Низовским — к горе Гасфорта, а второй с четырьмя своими шел подкрепить его порыв, когда внезапно раздавшееся «ура» в стороне колонны Реада и оживленная ружейная пальба французов приковала внимание Горчакова к своему правому флангу.

Там видны были бежавшие от предмостного укрепления зуавы в алых головных уборах и гнавшие за ними — штыки наперевес — русские солдаты. Ружейная же пальба по русским была поднята из укрепления, расположенного на середине крутого спуска Федюхиных гор к Черной речке.

— Что это такое? — очень изумился Горчаков, обращаясь к Коцебу. — Реад начал атаку Федюхиных?

— Похоже, что именно так... Боюсь, что это именно атака... — пробормотал Коцебу, убеждаясь, но не желая убедиться в том, что Реад оказался настолько воинственным, что начинает атаку гор, не получив даже особого приказа на это.

Забыто было и Горчаковым, что слово большого смысла «начинать» было им брошено так, между прочим, в силу суетливости его натуры, и дошло по назначению к вовсе не суетливому, но очень исполнительному Реаду.

Составляя диспозицию, Горчаков видел перед собою не одну какую-нибудь вполне определенную цель, а три весьма неясных возможности: штурм горы Гасфорта, штурм Федюхиных высот и, наконец, как было сказано в диспозиции, «усиленное обозрение, если бы упомянутые выше атаки представили слишком много затруднений». Что представляла собой эта третья возможность, «усиленное обозрение», было для свежего человека со всем уже непостижимо, но из двух штурмов один исключал другой, так как Горчаков видел все-таки, несмотря на всю свою подслеповатость, что на решение обеих этих задач сразу у него не хватит заготовленных сил, а распылять свои силы он не может.

Однако он не мог не знать и того, что гораздо легче была бы задача штурмовать гору Гасфорта, как он и хотел сделать, оставив против Федюхиных гор только необходимый заслон на случай наступательных

действий французов.

Но вместо того, чтобы послать своего адъютанта, полковника Менькова, к Реаду, чтобы тот не ввязывался в дело против Федюхиных высот, Горчаков послал его навстречу 5-й дивизии, чтобы, изменив маршрут, спешила она на помощь к нему, а не к Бельгарду, так как штурм Гасфортовой горы был им оставлен.

И даже больше того: Одесский полк, перебравшись через Черную и канал, наступал так стремительно, что восхитил его.

— Молодцы! Браво! Молодцы одесцы! — то и дело вскрикивал он, следя в трубу за атакой полка Скюдери и не видя, конечно, каких огромных потерь полку стоила эта безумная атака, вызванная беспечным словом его «начинать».

V

Между Черной речкой и позициями французов на Федюхиных горах проходил водопровод, раньше, до осады Севастополя, питавший доки. Теперь он был отведен интервентами в свою сторону. Глубина воды в нем доходила до восьми футов, так что вброд он был непроходим.

Затевая атаку правого фланга интервентов, барон Вревский давно уже заготавливал перекидные мостки через водопровод, и их сделали достаточно. Эти мостки были розданы в части, назначенные для атаки, и солдаты Одесского полка тащили их с собой, перебираясь вброд через речку.

Но артиллерия, сопровождавшая их в атаке, — что думал о ней Вревский, и Коцебу, и весь штаб Горчакова, и сам, наконец, Горчаков? Перейдя по каменному Трактирному мосту на другой берег в интервалах передовых рот, легкая батарея ринулась было на перекидные мостки, вслед за пехотой, но мостки эти оказались слишком ажурными, да и не могли быть иными, выдерживая людей, они ломались под лошадьми и орудиями, под упряжками зарядных ящиков.

Обрушиваясь в канал, лошади визжали и бились, стараясь выбраться из воды и напрасно колотя передними копытами в отвесный берег канала. Люди стремились помочь лошадям, хватая их за гривы и сбрую, а стрелки противника, так же как и комендоры укреплений,

энергично действовали по такой благодарной цели, и в водопровод валились десятками тяжело раненные и убитые: расчет Пелисье, приказавшего заранее обрубить по отвесу берега канала, был верен. Артиллерия застряла в канале и перед ним, а первые два батальона одессцев, на каждом шагу теряя людей, бросились на укрепление, гоня французов.

Укрепление, сооруженное из мешков с землею, было занято быстро, но за ним шагах в двухстах стояла восьмиорудийная батарея, и если легко показалось овладеть ею, то трудно было на ней удержаться.

Почти все офицеры обоих батальонов были уже к этому времени перебиты, солдаты пустились хозяйничать среди захваченных орудий белым утром, как привыкли они это делать на вылазках ночью: одни спешили заклепывать их, другие пытались артельным порядком скатывать их вниз, чтобы перетащить на свою сторону, а единственный среди них офицер, молоденький прапорщик Лукин, кинулся с несколькими солдатами отбивать у французского знаменосца знамя.

Это был эфемерный, конечно, успех — успех зачинщиков большого сражения, но он не был своевременно поддержан. Дивизии генералов Каму и Фоше были гораздо ближе к захваченной батарее, чем дивизии Мартинау и Ушакова, и, пока перебирались вброд через Черную и по перекидным мосткам через канал остальные два батальона одессцев, остатки передовых батальонов уже спускались вниз под напоромседавших французов. И орудия и знамя были отбиты, и остался на батарее убитый пулей в висок прапорщик Лукин.

Первый и второй батальоны, едва успев построиться в колонны к атаке на левом берегу Черной, напали на алжирских стрелков, гнавших вниз обессиленных одессцев, и начался новый прилив, захлестнувший восьмиорудийную батарею.

Но пока Рead, не зная, что ему делать дальше, ждал приказаний Горчакова, наступил отлив: большие силы французов, подойдя на помощь своим, вторично сбросили упорных русских солдат со своей батареи и потеснили их к водопроводу.

Здесь было принял команду над ними бригадный генерал Левуцкий, но скоро был контужен в голову; после принял команду майор Гродзский,

но через минуту его уже уносили раненного в живот, и, наконец, штабс-капитану Иванову кое-как удалось собрать остатки Одесского полка, свести их в четыре роты и переправить через Черную обратно. Тем временем вернулся к Реаду посланный им за указаниями адъютант его Столыпин. Горчаков передавал с ним, что 5-я дивизия идет в помощь отряду Реада. Это значило, что наступление надо было продолжать. И вот на ту же Голгофу, с которой только что снят был распятый там Одесский полк, начал всходить другой полк 12-й дивизии — Азовский.

Генерал Фальи, командир второй бригады дивизии Фоше, оттеснивший одессцев, был в свою очередь опрокинут азовцами, подъем которых в гору был стремительней, чем он предполагал это. Только получив подкрепление из резерва — 73-й линейный полк, — он оказался в силах принудить к отступлению упорно задерживавшихся на каждом шагу русских солдат, потерявших большую часть своих начальников. — Прикажете израсходовать и Украинский полк? — спросил генерал Мартинау Реада, подъехав к нему, стоявшему, прислонясь к верстовому столбу на Мекензиевой дороге.

Это место было удобно тем, что с него открывался вид на все «поле» сражения, которое, впрочем, меньше всего было похоже на поле: лишённые растительности, так как трава давно уж была сожжена солнцем, белесые, из известкового камня скаты, очень густо уже местами покрытые телами в рыжих шинелях.

С этого места у верстового столба удобно было наблюдать за боем, но оно все-таки находилось очень близко от каменного моста, — не больше как в пятистах шагах, — и теперь, когда французы, наступая, стреляли в азовцев, пули залетали сюда, распевая около Реада.

Но он держался бодро. У него был вид человека, который отлично понимает, что получил глупое приказание, но стремится тем не менее его выполнить, так как твердо с молодых ногтей усвоил основное правило воинской дисциплины: «Делай все, что прикажет начальник».

Он только развел безнадежно руками и ответил коротко:

— Посылайте Украинский.

Мартинау приложил руку к козырьку и отъехал.

Это был боевой генерал. Он не считал возможным оставаться праздным

зрителем на правом берегу Черной, когда шел на явную уже для него гибель третий полк его дивизии (последний), — Днепровский был в отряде генерала Бельгарда, а Украинским полком командовал полковник Бельгард, брат того, пятнадцать лет находившийся в отставке и только недавно приехавший в Севастополь и получивший здесь полк.

Можно было бы думать, что украинцы, перед глазами которых разыгрался разгром двух полков их дивизии, если и пойдут вперед, то с оглядкой, но они двинулись и на мост и вброд неудержимо.

Перекидные мостки, доставшиеся на их долю, оказались короткими, они бросили их и перебрались через водопровод где вброд, где вплавь, а только что построившись, потом с большой яростью бросились на французов и гнали их снова до той же восьмиорудийной батареи, заставив генерала Фоше ввести в дело новые резервы.

И хотя французы, подкрепленные новыми силами из резерва, значительно превосходили численно Украинский полк, в который к тому же летела туча картечи, все же, чтобы вынудить русских к отступлению, они прибегли к военной хитрости, иногда удававшейся им во время ночных вылазок с бастионов; их горнисты очень отчетливо исполняли здесь и там русский сигнал отступления.

Однако и отступая, украинцы только пятились, все время будучи лицом к врагу, то скрешивая с ним штыки, то стреляя, и это несмотря на то, что командир полка Бельгард был убит в самом начале сражения, что под генералом Мартинау была убита лошадь, и сам он был ранен в плечо пулей, и кровью была залита спереди его шинель.

— Ваше превосходительство, мостки забирать с собою прикажете? — хозяйственно спросил его один заботливый унтер-офицер.

— Мостки?.. Черт с ними, с мостками! — отозвался ему Мартинау.

Но солдаты не считали себя побежденными; они все еще дышали азартом борьбы, и, когда, отступая, они докатились до моста, один из них, простой рядовой, перебежав по мосту, добрался до самого Реада, неподвижно, как столб, стоявшего около верстового столба, носившего название Екатерининской мили.

Добравшись, он сделал «на караул» по-ефрейторски, то есть отставив ружье от правой ноги на вытянутую руку, и проговорил, запыхавшись:

- Ваше превосходительство, резерва нам дайте!
- Резерва? — удивился Ред. — А тебя кто же послал ко мне?
- Товарищи послали, ваше превосходительство.
- А офицеры что же?
- Офицеры так что поубиванные.
- Ну, братец, у меня нет резерва, — я сам его жду... Когда придет, пошлю.
- Слушаю, ваше превосходительство.

Солдат сложным приемом, но безупречно вскинул ружье на плечо, сделал точный поворот «налево кругом» и пошел оповестить товарищей, что резерва не будет.

«Стремительность русских была изумительна, — писал об атаке полков 12-й дивизии корреспондент одной из английских газет. — Они не теряли времени на стрельбу и бросались вперед с порывом необычайным. Французские солдаты дивизии Каму, охранявшие зимою траншеи при Карантинной бухте и почти ежедневно имевшие схватки с русскими, уверяли меня, что еще никогда русские не обнаруживали в бою такой пылкости».

Базанкур, французский историк Крымской войны, пышно, хотя и не совсем удачно, сравнил атаку 12-й дивизии с лавиной, «свергаемой бурей с высоты гор»... Французские офицеры впоследствии спрашивали у русских, как назывались три первых полка, которые шли с такой отчаянной храбростью на штурм Федюхиных гор, и записывали в свои записные книжки *Odessky, Azovsky, Oukraïnsky*.

Было всего только семь часов утра, когда последний из этих трех славных полков был оттиснут к речке, зловеще называвшейся Черной. Как раз в это время добрался к Реду флигель-адъютант князь Оболенский, посланный Горчаковым.

Он послан был тогда, когда Горчакову казалось, что Украинский полк, дравшийся еще упорнее, чем два других, непременно доберется до французских батарей, расположенных на вершине правой из Федюхиных гор, а Ред, разумеется, должен будет послать на поддержку его свою 7-ю дивизию.

- Ваше превосходительство, — сказал Оболенский. — Главнокомандующий послал меня передать вам, что если нужно будет,

то к вам будет направлена, кроме пятой, также и четвертая дивизия, а если пожелаете, то еще и два полка драгун.

Покачив снисходительно к явному людскому неразумию маститой своей головой, Рead ответил Оболенскому:

— Dites au commandant en chef, que les dragons ne peuvent pas etre employes en ce terrain, et quant a la quatrieme division, elle est inutile, car il lui sera impossible d'emporter la position et elle se fera echarper, comme la douzieme l'a ete{109}.

Бывший тут же генерал Веймарн, далеко не такой торжественный, как его непосредственный начальник, — напротив, очень подвижной, деятельный, один из самых образованных офицеров русской армии того времени, — сказал то же самое, что и Рead, только гораздо короче и по-русски:

— Непонятно, о чем еще хлопочет князь, когда сражение уже проиграно!

Совсем иначе, впрочем, думали солдаты Украинского полка. Появившись снова на правом берегу речки, полные еще боевого азарта, они направлялись толпами к стоявшей тут 7-й дивизии и, минуя офицеров, обращались к таким же солдатам, как и сами:

— Ребятюшки, подмогните! Ведь они, окаянные, что есть мочи от нас бежали! Ведь мы уж в лагере у них были, только что подмоги нам не было.

И не зря они обращались к солдатам. Начальник 7-й дивизии генерал Ушаков 3-й получил от самого начальника отряда приказание «начинать», но если сам Рead понял это горчаковское словечко, как приказ начать штурм, то Ушаков предпочел даже и не думать над тем, что оно значит, а преспокойно стоять на месте. Приказ Рeада «начинать» сражение, по его мнению, не соответствовал диспозиции, и выполнять его он не хотел.

Два раза посылал к нему Рead своего адъютанта, ротмистра Столыпина, чтобы сдвинуть его с места, но в первый раз Ушаков сказал, что дивизию в бой не поведет, потому что нет резервов, а во второй раз, когда подходила уже из резерва 5-я дивизия, сослался на то, что нет людей, которые показали бы ему, где броды на речке и в канале.

Как генерал Жабокрицкий во время Инкерманского боя спрятал свою бригаду в лощину, не поддержав вовремя атаковавших англичан полков Соймонова, так и Ушаков хотел остаться спокойным зрителем развернувшегося перед ним зрелища героической гибели полков 12-й дивизии.

Только Веймарн, прискакавший к нему от Реада, заставил его, наконец, выдвинуть за речку три полка, оставив четвертый охранять артиллерию, которую невозможно было переправить через канал.

Свыше трехсот орудий должны были по диспозиции участвовать в сражении, но введены были в дело всего только двадцать два: так составляются диспозиции, так пишется история.

VI

Полки 7-й дивизии — Витебский, Полоцкий, Могилевский — переходили вброд Черную под сильным огнем французов, а едва перешли, были встречены тремя полками французов: 50-м линейным, 3-м зуавским и 82-м линейным, который, бегом спустившись со взгорья, ударил во фланг Полоцкому полку, в то время как еще три батальона из резерва под командой самого начальника резерва генерала Клера зашли с другого фланга.

Попавшие с первых же шагов своих в мешок полки 7-й дивизии все-таки успели захватить несколько линий французских ложементов, но сильнейший обстрел картечью заставил их отойти снова к речке.

Окружить их французам не удалось, несмотря на большое превосходство в силах, — они отбились штыками, но потеряли при этом до двух тысяч человек. Артиллерии, оставленной на правом берегу, пришлось прикрывать обратную переправу обескровленных полков.

Большую пользу делу наступления, как бы неудачно оно ни велось, оказали две тяжелые батареи, установленные на Телеграфной горе генералом Липранди. С расстояния почти в полтора километра они давали чувствовать себя так сильно, что заставляли несколько раз французов менять позиции своей артиллерии.

Но это были слишком слабые успехи; налицо был разгром двух пехотных дивизий. И когда скорым маршем к каменному верстовому

столбу, около которого стоял Рead, подошли первые ряды Галицкого полка, шедшего во главе 5-й дивизии, кажется, можно бы было предвидеть участь этих людей, запыленных, усталых, с потными лбами под бескозырками, лихо сдвинутыми у всех по форме на левый бок.

Их неминуемо должно было ожидать то же самое, что случилось с шестью полками до них, которые вводились в бой поодиночке, но громились совокупными силами французской пехоты и артиллерии, долго и очень обдуманно подготовлявшими этот разгром.

Теперь столь же обдуманно, но быстро готовили французы разгром новых полков, в случае если бы главнокомандующий князь Горчаков, цену которому они уже знали, вздумал бы бросить эти полки на штурм.

Как только Пелисье узнал, что Горчаков сосредоточил на берегу Черной большую армию, он двинул из глубокого резерва к Федюхиным высотам гвардию и дивизию генерала Лавальяна. Кроме того, дивизия Дюлака ожидала только сигнала, чтобы ринуться с Сапун-горы на помощь Гербильтону, а дивизия де Ламотт-Ружа перестроила свой фронт, повернувшись от Корабельной стороны в сторону Черной речки; дивизия д'Ореля стала в ружье.

Наконец, несколько батальонов турок пришли на помощь французам, и турецкие гаубицы открыли огонь по русским батареям на Чоргунских высотах, артиллерия же Федюхиных гор, и без того чрезвычайно мощная, усилена была еще пятью конными батареями, взятыми из резерва.

И всем этим свежим и хорошо знакомым с местностью войскам брошен был в семь часов утра по приказу Рeада на растерзание Галицкий полк.

Начальник 5-й дивизии, генерал Вранкен, испугавшись за участь этого полка, поднял было голос в его защиту:

— Ваше высокопревосходительство, — сказал он, — я считаю более сообразным с обстоятельствами штурмовать такую сильную позицию всей моей дивизией, а не одним только полком.

— Я здесь начальник, — надменно ответил ему Рeад, — и попрошу вас исполнять мои приказания!

— Но ведь один полк, весьма возможно, будет разбит, — пытался все-таки вразумить начальника отряда Вранкен, однако Ред отозвался на это тоном, не допускающим никаких возражений:

— В таком случае пойдет в атаку следующий по порядку.

Вранкен откозырял и приказал командиру Галицкого полка тут же около Екатерининской мили строить его в колонны к атаке.

И так же точно, с командой штуцерников впереди и с барабанным боем, как все другие полки до него, уже с подхода к речке попавший под сильнейший ружейный огонь с того берега, Галицкий полк двинулся к первой преграде.

Держа ружья над головой, пошли вброд солдаты, и многие из них затем только, чтобы остаться в реке с пулей в голове или в сердце, те же, которым посчастливилось перебраться благополучно, ступив на берег, должны были пускаться в дело трехгранный штык.

Они все-таки отбросили атаковавших их французов к подошве гор, но здесь наступательный порыв их разбился о толщу французских батальонов. Они завязали было перестрелку, но картечь, посыпавшаяся на них слишком изобильно, заставила их отойти снова к реке.

Галицкий полк состоял всего из трех батальонов, и всех трех батальонных командиров вслед за полковым он потерял во время атаки. Остатки полка вывел на правый берег Черной единственный уцелевший штаб-офицер майор Чертов.

Но прихлынувшие к реке французы осыпали пулями Костромской полк, стоявший наготове к атаке и пропускавший сквозь свои ряды остатки Галицкого в тыл.

Начальник 5-й дивизии Вранкен был ранен; до двухсот человек офицеров и солдат Костромского полка были ранены и убиты, еще только готовясь к атаке. Картечь и пули летели сплошь. Даже пыль подымалась от них при падении на сухую землю, такая, какую способны поднять только телеги, проезжая по большаку.

Но посланный в атаку полк все-таки двинулся сквозь тучи пуль к мосту и бродам, и вместо раненого и унесенного на перевязочный командира полка генерал Веймарн, верхом на лошади, сам повел полк.

Он мог бы оставаться по-прежнему рядом со своим корпусным командиром Реадом, у Екатерининской мили, но бывает иногда с людьми даже и в генеральских чинах, что охватывает их вдруг порыв ненависти к самим себе вследствие неудач кругом, которые вызваны если даже и не ими лично, все же при их участии. Они кидаются тогда сами поправлять дело, какому бы риску при этом ни подвергались.

Он ехал впереди второго батальона через мост.

Только что миновали мост, ранен был в руку выше локтя командир этого батальона майор Соколов, но шел все-таки, зажимая рану. А пули реяли кругом, и вот одна впиалась ему в грудь, другая в живот...

— Команду принять капитану Шайтарову! — успел все же крикнуть майор, прежде чем упал под ноги своих солдат.

Но вслед за ним повалился с лошади и генерал Веймарн, смертельно раненный пулей в лоб. На носилках понесли его через мост обратно.

Французы продолжали расстреливать патроны своих переполненных сумок по двигавшимся вперед, хотя и без начальников, солдатам Костромского полка; когда же те бросились, наконец, в штыки, беспорядочный, но чрезвычайно яростный штыковой бой закипел у подножия гор.

Недолго, впрочем, длился этот бой: слишком неравные сошлись силы. Но когда различил сквозь пороховой дым и туман генерал Реад, что костромские быстро пятятся снова к речке, что осталось их мало, что их вот-вот окружат французы, он крикнул:

— Галицкий полк, в ата-ку-у!

— Галицкий полк ходил уже в атаку, ваше высокопревосходительство!

— почтительно доложил ему квартирмейстер 5-й дивизии капитан генерального штаба Кузьмин.

— Что-о? Про-ти-во-речить?.. Я-я здесь начальник! — выкатив светлые по окраске зрачка, но совершенно какие-то затуманенные глаза, закричал Реад.

В этот момент он, подчеркнуто прямо державшийся в седле, на своем время от времени тяжело вздыхавшем коне караковой масти, показался Кузьмину внезапно сошедшим с ума.

Предки Реада были англичане, при Петре переселившиеся в Россию, и сознание своего превосходства над окружающими было у него

фамильным, но теперь тем более, как руководитель большого сражения, призванный к этому самым главнокомандующим, Реад верил в свою непогрешимость, как бы плохо ни шли действия русских войск. Он не захотел поправиться и теперь, явно забыв названия полков 5-й дивизии и перепутав их.

— Галицкому полку, — повторил он отдельно и упрямо, — идти в атаку!

Кузьмину оставалось только броситься к стоявшим в тылу остаткам Галицкого полка и передать майору Чертову приказание генерала.

Сведенный уже в батальон и рассчитанный на четыре роты, Галицкий полк под барабаны двинулся к мосту, на котором уже пятились, отступая, костромские.

Те, увидя поддержку, остановились и задержали французов, потом шагов на триста оттеснили их от моста, а галицкие, подоспев, погнали их еще дальше.

Когда ранен был майор Чертов, впереди галицких оказался поручик Чегодаев, человек немалой силы и удали. Восемь зуавов окружили его, и пятерых из них он заколол штыком, но остальными поднят был на штыки сам...

На плечах отступавших русских солдат французы не только ворвались на мост, но заняли и то предмостное укрепление, которое очистили в начале боя. Пули их вывели многих из строя в Вологодском полку, стоявшем уже в колоннах к атаке.

Его и повел было в атаку бригадный генерал Тулубьев, но, контуженный в грудь, свалился с коня, и на его место стал командир вологодцев, полковник Вронский.

Переколоты были штыками зуавы, занявшие было укрепление, очищен был мост. Под сильнейшим огнем перешли вологодцы речку, потом водопровод... Французы отступали перед ними, быть может, и умышленно, чтобы подвести их под свою картечь, и на подступах к горам потери полка были уже так велики, что только двумстам — тремстам из четвертого батальона удалось добраться все до той же восьмиорудийной батареи, перед которой лежали уже горы трупов.

Майор Медников, командир четвертого батальона, старик уже, выслужившийся на Кавказе из солдат, в одной руке кинжал, в другой

— кистень, оглянулся назад и увидел, что его окружают с его малой командой французы. Крикнул «ура» и повел своих снова вниз, работая то кистенем, то кинжалом, который «повернее форменной сабли».

Пробились, но батальонное знамя едва не потеряли. Убит был знаменщик, убиты были и двое его заместителей; наконец, перебито было и древко, так что знамя упало на землю. Оно было бы захвачено французами, если бы не барабанщик Азовского полка Степан Реутович, оставшийся тут раненый и валявшийся в общей куче, ожидая смерти. Знамя свалилось как раз на него, и он подтащил его под расстегнутую шинель, им опоясался и застегнул крючки шинели. Он спас знамя, а знамя спасло его: он почувствовал вдруг такой прилив сил, что не только поднялся, но и пошел к толпе отбивавшихся направо и налево вологодцев и вместе с ними, забыв о своей ране, доковылял до моста, где ему помогли перебраться на другой берег и потом отнесли на перевязочный.

Другая участь ожидала руководившего боем Реада.

Отодвинув остатки Вологодского полка к бродам и на мост, французы не только заняли снова Трактирный мост и предмостное укрепление, они и артиллерию подвезли близко к реке.

От 5-й дивизии остался в целости только 17-й Архангелогородский полк. Правда, стоя на месте, он потерял уже свыше полутора ста человек — из них с десятков офицеров, но, смыкая ряды, готовился уже проделать все, что до него проделали и три остальные полка 5-й, и три полка 7-й, и три полка 12-й дивизий.

Уже подъехал к Реаду, чтобы получить от него приказание двинуть полк в атаку квартирмейстер дивизии Кузьмин, но только что успел взять под козырек и сказать «Ваше...», как средней величины граната, лопнув над головой Реада, мгновенно раздробила ему череп, и Кузьмин вместо приказа к атаке ощутил вдруг острую режущую боль в мясистом своем подбородке: это вонзился в него осколок одной из черепных костей командира третьего корпуса.

Отдавать приказание стало некому. Архангелогородский полк, вместо того чтобы идти вперед, был отодвинут назад. Бой у Трактирного

моста окончился.

VII

Хотел ли злополучный Реад непременно бросить на верную гибель полки 5-й дивизии? Нет, не хотел; ему казалось только, что он исполняет приказание главнокомандующего, а свое мнение о полной бесполезности атак пехотными, а тем более кавалерийскими полками такой сильной позиции он выразил (по-французски) князю Оболенскому, а тот, конечно, передал его Горчакову.

Может быть, Горчаков хотел этого? Тоже нет. Напротив, после того как славная атака полков 12-й дивизии была отбита, он послал полковника Менькова к Реаду с приказом прекратить бой и все войска вывести из-под обстрела, предоставив французам в свою очередь атаковать укрепленные русские позиции, если только французы этого пожелают.

Меньков отправился тут же; расстояние между верхушкой Телеграфной горы, где сидел — шинель внакидку — Горчаков, и Екатерининской милей, к которой прирос Реад, было по прямой линии не свыше трех километров, но местность была весьма неровная, густо забито было все войсками; туман, пороховой дым, отсутствие дорог, кусты, пеньки, топкий берег Черной речки — все это вместе взятое привело к тому, что Меньков задержался в дороге, а может быть, даже сбился с маршрута, попал, спеша, совсем не туда, куда надо, — так или иначе, но около Реада он очутился как раз в ту минуту, когда граната сняла с него, вместе с головой, ответственность за неразумную трату полков, посылавшихся им поодиночке на верный разгром.

Ушаков 3-й отвел свою весьма пострадавшую 7-ю дивизию, даже и с артиллерией, в тыл; Мартинау, хотя и раненый, позаботился об остатках своей 12-й и собрал ее на спуске с Мекензиевой горы; здесь же, на берегу Черной речки, осталась разбитая 5-я дивизия, лишенная генералов, так как и Вранкен и Тулубьев были отправлены на перевязочный.

— Где же четвертая дивизия? — спрашивал в недоумении Меньков, так как он знал... что за нею, чтобы привести ее сюда, к Трактирному

мосту, посылался Горчаковым один из его многочисленных адъютантов, барон Мейендорф, — однако никто ничего не мог сказать ему о 4-й дивизии.

Эта дивизия просто застряла в пути, так как единственная дорога с Мекензиевых гор сплошь была забита орудиями, зарядными ящиками, фургонами, лазаретными фурами и прочим, и полки 4-й дивизии остановились верстах в четырех от Черной речки и ждали, когда расчистится для них путь.

Обратно к Горчакову ехал Меньков уже гораздо быстрее, тем более что вез он известия одно другого важнее и значительней: смертельная рана генерала Веймарна, смерть Реада, разгром 5-й и 7-й дивизий, французы на правом берегу Черной, а местонахождение 4-й дивизии никому не известно...

Туман и густой дым, скрывавший от французов трудное положение 5-й дивизии, а с другой стороны, опасение иметь сзади себя Черную речку на случай контратаки, кроме того, может быть, и вполне естественная усталость войск помешали французам перейти Трактирный мост в больших силах и довершить дело разгрома 5-й дивизии.

Довольно долго тянулась перестрелка, дозволившая Горчакову, несмотря на всю тягучесть его мысли, принять сразу несколько решений.

— Белевцев! Генерал Белевцев! — озираясь на свою огромную свиту, выкрикнул он, только что выслушав доклад Менькова.

Генерал-майор Белевцев, начальник дружин курского ополчения, тяжелый сырой старик, отозвался по-строевому:

— Здесь Белевцев, ваше сиятельство! — и послал лошадь, на которой сидел, вперед.

— Сейчас же примите команду над пятой дивизией! — резким крикливым голосом приказал Горчаков. — Устройте ее, приведите в порядок!

— Слушаю, ваше сиятельство!

На несколько мгновений задержался было около Горчакова Белевцев, ожидая дополнений, разъяснений каких-нибудь к такому краткому и неожиданному назначению, но Горчаков, отвернувшись, начал вдруг, сидя в седле, натягивать шинель в рукава; из этого Белевцев вывел,

что ему он сказал все, а сам сейчас займется чем-то другим, гораздо более важным. Оставалось, значит, скакать туда, где убили Реада, о чем расслышал он краем уха из доклада Менькова.

Попавший из долговременной отставки не только в Севастополь, но и сразу в самую гущу большого сражения и в свиту главнокомандующего, от которого, как ему представлялось, расходились все нити управления боем, Белевцев был уже достаточно оглушен и продолжительной пушечной пальбой кругом и вообще необычайностью своего положения после мирных лет отставки, проведенных в сельской тишине в своем родовом имении.

— Боюсь, что собьюсь с дороги, — туман, дым... — несколько сконфуженно обратился он к генерал-квартирмейстеру Бутурлину. Бутурлин дал ему в провожатые одного из адъютантов и казака из конвоя.

Горчаков же недаром надел в рукава шинель, хотя день развернулся ясный, тихий и теплый. Он сказал, обращаясь к Коцебу:

— Я лично принимаю начальство над правым крылом армии.

Однако остался он здесь же, где и был, на Телеграфной горе, только сделался вдруг очень беспокойным. Он ерзал на лошади, поворачивая ее туда и сюда, заговаривал то с Коцебу, то с Липранди, избегал только Вревского, старался даже делать вид, что не слышит обращенных им к нему замечаний о ходе боя или вопросов. Вревский все время держался с ним рядом, Горчаков же все время стремился не глядеть в его сторону.

При его обычной рассеянности, при всей исключительности окружавшей его обстановки такое упорство в желании совершенно не замечать и не слышать виновника неудач и потерь этого дня изумляло свиту главнокомандующего и прежде всех крошечного Коцебу, который видел, что и Вревский чувствует себя скверно.

Впрочем, Вревский старался все-таки показывать то и дело, что он верит в конечный успех сражения, но не понимает только, почему так плохо действует артиллерия правого крыла и почему главнокомандующий не дает севастопольскому гарнизону сигнала начать вылазку. Он, который при составлении диспозиции в главном штабе презрительно относился к мысли о вылазке гарнизона, стараясь

доказать, что решение вопроса лежит исключительно за Черной речкой, теперь явился вдруг сторонником мнений Хрулева и Тотлебена о большой вылазке со стороны Малахова кургана, чтобы оттянуть силы французов от Федюхиных высот, куда направлялся главный удар.

Горчаков же, объявив себя самого начальником правого крыла, с тою поспешностью, какая его отличала, пришел тоже к мысли оттянуть французов, только не к городу, а в сторону левого крыла, чтобы спасти от полного уничтожения правое. На Белевцева, взятого из отставки, мало было у него надежды, тем более что полкам 5-й дивизии был он совершенно неизвестен.

Липранди, верхом на лошади, стоял близ Горчакова, и тот совершенно неожиданно обратился к нему:

— Генерал Липранди! Прикажите семнадцатой дивизии атаковать позиции! Первой бригаде!..

Подняв руку к козырьку фуражки, Липранди смотрел непонимающе.

— Атаковать позиции?.. Какие именно, ваше сиятельство? — спросил он, невольно оглянувшись при этом на Гасфортovu гору.

— Туда, туда! Туда в атаку! — недовольный его непониманием, указал вытянутой рукой на ближайший к Телеграфной отрог Федюхиных гор Горчаков.

Этого не было в диспозиции. Весь отряд Липранди предназначался исключительно для штурма Гасфортовой горы, для чего занимались и Чоргунские высоты, и Телеграфная, и деревня Карловка, и выходы из Байдарской долины.

Отряд этот не имел даже и мостков для перехода через водопровод, так как между Телеграфной и Гасфортовой горами было только одно препятствие — Черная речка, водопровод же за Черной проходил между Телеграфной и позициями французов.

Липранди знал, конечно, что главнокомандующий во время боя может распоряжаться войсками и не придерживаясь заранее составленной диспозиции, так как всегда возможна непредвиденная случайность, которая даст успех тем из передовых колонн, на которые не возлагалось особенных надежд, и тогда зачем же держаться диспозиции?

Но в этот злосчастный день не было и тени успеха.

— Ваше сиятельство! Если мы пустим семнадцатую дивизию на французов, то сардинцы ударят ей во фланг, — предостерегающе сказал Липранди.

Но Горчаков спешил спасти правое крыло армии, взятое им под свое непосредственное начальство. От замечания Липранди он только отмахнулся рукой, едва добавив к этому:

— У нас есть резервы, чтобы не допустить их! Передайте Веселитскому... Где Граббе?

Генерал-майор Граббе был командиром первой бригады 17-й дивизии. Высокий, с плоской спиной и твердым, сухим, длинным носом, он продвигался сквозь ряды многочисленной свиты, а в это время Липранди почти испуганно обращался вполголоса к Коцебу, говоря ему на ухо:

— Павел Евстафьевич, отговорите князя, ради бога! Что такое? Какое наступление возможно от нас, когда оно там провалилось?.. Погубим еще одну бригаду, и только! Сардинцы висят у нас на левом фланге! Отговорите, пожалуйста!

— Если успею в этом, — развел ручками Коцебу. — Беда, когда у князя появляются такие внезапные идеи! Тогда он бывает очень упорен.

Однако единомышленником князя оказался, приятно это ему было или нет, барон Вревский. Он очень оживился. Он готов был сам скакать к 17-й дивизии, чтобы передать приказ о наступлении. Эта дивизия была последней картой в объявленной благодаря ему игре, а вдруг она не будет бита? А вдруг в это время как раз подойдут свежая 4-я дивизия и артиллерия, и это даст совсем другой оборот испорченному делу?

О том, что на правый фланг армии, быть может теперь уже скрытые густым дымом и туманом от подзорных труб с Телеграфной горы, надвигаются французы, Вревский не думал, но беспокойство Горчакова за 5-ю дивизию и подступы к Мекензиевым горам сообщилось Коцебу, когда он действительно хотел было отговорить главнокомандующего от новой атаки, похожей в его глазах на жест отчаяния.

Полки Бутырский и Московский, соблюдая обычные интервалы в ротных и батальонных колоннах, один за другим принялись спускаться с горы к речке. Их движение не могло быть скрытым; их намерение атаковать не Гасфортову, а Федюхину гору, ближайшую к ним, было, конечно, сразу разгадано как французами, так и сардинцами, и только подойдя к бродам через Черную, бутырцы попали уже под перекрестный огонь; но за речкой ожидало их другое, едва ли не более серьезное препятствие — водопровод, который был глубже, чем Черная, хотя и уже.

Мостков не было, огонь же становился все сосредоточенней. Легкая артиллерия, оставленная на Телеграфной, отстреливалась от сардинцев, а две легкие батареи били по французским позициям, но это была слабая помощь бутырцам. И, однако же, они шли вперед, шли так же, как шли одессцы, азовцы, украинцы, галицкие, костромские, вологодские, шли, как привыкли ходить в атаки русские солдаты, — плотными рядами, обходя убитых и раненых и тут же смыкаясь вновь, и удивительные существа — ротные барабанщики священнодейственно и вдохновенно отбивали им шаг.

Сам главнокомандующий французов Пелисье, обогнав двинутые им с Сапун-горы на помощь генералу Фоше дивизию Дюлака и гвардию, имел возможность любоваться бутырцами, шедшими без выстрела на штурм восточного отрога Федюхиных высот.

Фоше не ожидал штурма с этой стороны; напротив, он направил почти все свои силы на склоны, обращенные к Трактирному мосту, опасаясь нового сильного натиска отсюда.

Правда, бригада генерала Клера спешила из резерва на поддержку батальону, атакованному и смятому бутырцами, хотя и в небольшом уже числе, все-таки добравшимися до вершины.

Бригада Клера в свою очередь потеснила бутырцев, но сквозь их весьма поредевшие ряды ринулся для драки врукопашную Московский полк, подтянутый к этому моменту Граббе, и погнал французов в их лагерь. Он добрался до кухонь и палаток, и, будь в это время следом за ним сильные резервы, могла бы разыгаться картина боя, превосходящая Инкерманский по своей ожесточенности и по своему значению для дела обороны Севастополя.

Но Горчаков разбросал свои силы, чего, впрочем, и не мог он не сделать, как атакующий, Пелисье же собрал для защиты Федюхиных шестьдесят тысяч человек пехоты. Он стянул ее даже из траншей против Корабельной, когда убедился, что вылазки со стороны русских против редуты Бриссона и Виктории не будет.

То, чего опасался Липранди, конечно, и случилось; Ла-Мармора послал бригаду своих сардинцев на правый фланг французов; но подкрепления спешили и из дивизии Каму, и с Сапун-горы спускалась дивизия Лавальяна, и спешили из резерва турецкие батальоны.

Держаться бутырцам и москвцам на горе было уже нельзя. Граббе приказал протрубить отбой и в самом начале отступления был тяжело ранен в ногу; ранен был и командир Бутырского полка, и все батальонные командиры, и много ротных оказались ранены или убиты... Липранди пришлось послать Бородинский полк прикрывать отступление, и в интервалы бородинцев проходили, стягиваясь к Телеграфной горе, остатки первой бригады.

В это время Белевцев, добравшийся до 5-й дивизии, которую он должен был устроить и привести в боеспособный вид, нашел стоявшим в порядке один только Архангелогородский полк. Представиться этому полку было для Белевцева просто, в этом помог ему командир полка, но другие полки просто разбрелись кучками солдат по урочищу, носившему название «Мокрая луговина», и в дыму, и в тумане, и под неумолкающую трескотню ружейных выстрелов и разрывы гранат и бомб очень трудно было разобраться в этих кучках, какие из них Галицкого полка, какие Костромского, какие Вологодского.

Сырой старик с вяло повисшими седыми усами, подъезжал он то к одной, то к другой кучке, крича:

— Я ваш новый начальник дивизии!

Солдаты же смотрели на него спокойно.

Но вот он разглядел в одной кучке солдат знаменщика со знаменем.

— Какого полка знамя, ребята?

— Костромского егерского полка! — зычно ответил сам знаменщик.

— Ребята! Вы меня не знаете, но зато знаете это знамя! — прокричал Белевцев и, тут же вспомнив необходимую команду, скомандовал довольно удачно, то есть звонко, внушительно и с чувством:

— По зна-мени стройся!

Это и было то самое, с чего надо было начать, — собирать разбредшиеся полки.

Солдаты собрались у своих знамен, и можно уж было свести их в батальоны и потом отвести подальше от выстрелов.

Однако далеко не все собрались из тех, кто в состоянии был это сделать.

Можно было подумать, что французы намерены вот-вот двинуться в атаку на русские позиции, так густо поливали они снарядами и пулями правый берег Черной, и все-таки, несмотря на это, деятельно шла уборка раненых.

Правда, команды, особо назначенные для этой цели, еще до начала сражения были отправлены на левый фланг, так как Горчаков предполагал атаковать Гасфуртову гору, а не Федюхины высоты, туда же, в долину речонки Шули, была направлена и большая часть медиков, но сражение развернулось совсем не так, как об этом писалось накануне в главном штабе, и огромное число раненых оказалось здесь, около Трактирного моста.

Убирать раненых шли солдаты разгромленных уже полков, только что сами случайно спасшиеся от смерти, и шли опять туда же, где роем носились пули и взрывались снаряды. Это стоило любой повторной атаки, хотя и делалось это вполне добровольно, без приказа начальства, без барабанного боя.

К Телеграфной горе были подтянуты два полка из отряда генерала Бельгарда, но Горчаков не думал уже вводить их в дело: отступлением бородинцев проигранное на обоих флангах сражение было закончено. Сходились и сошлись, наконец, бородинцы, пропустившие сквозь свои ряды остатки бутырцев и московцев, но как ни подслеповат был Горчаков, все же разглядел он в трубу, что около самой речки, в кустах, взвиваются дымки от ружейных выстрелов, хотя перестрелка была уже прекращена и штуцерные отозваны.

Горчаков послал двух казаков из конвоя привести к себе этих неугомонных стрелков. Помчались казаки вниз и привели виновника беспокойства князя: стрелок оказался один. Это был богатырского роста и сложения рядовой Бородинского полка.

— Ты что там стрелял? — шепеляво спросил его главнокомандующий.

— Прикрывал отступление, ваше сиятельство, — очень отчетливо ответил бородинец.

— Мне показалось, что еще там кто-то стрелял в кустах...

— Никак нет, ваше сиятельство, я один там был, только я перебежку делал от куста к кусту. Он по дыму стреляет в меня, а я уж из другого места в него ловчусь. А ползуны мои этим временем дальше себе отползают.

— Ползуны? Какие ползуны? — не понял Горчаков.

— Которые раненые, ваше сиятельство... Я троих на себе принес, ну, там еще сколько-то осталось. Я им сказал: «Ползи, братцы, а я вас прикрывать буду...»

— Где же они ползут? Указать можешь?

— А как же не могу, ваше сиятельство! Их и отсюда видать... Вон за тем бугорчиком один прижук, да вот за тем кустиком, рыжеватым из себя, ешшо двоечка.

— Ну-ка, подбери их, ребята, — обратился Горчаков к казакам, и те снова погнали вниз своих косматых лошадей, тормозящих на спуске задними ногами.

— Тебя как звать? — спросил Горчаков солдата.

— Первой мушкатерской роты лейб-егерского Бородинского полка рядовой Шелкунов Матвей, ваше сиятельство, — приосанясь, не по форме несколько, но отчетливо ответил солдат.

— Молодец, Шелкунов Матвей!

— Рад стараться, ваше сиятельство!

Бравый вид Шелкунова так успокоительно действовал на главнокомандующего, только что проигравшего большое сражение, что он не мог оторваться от него так вот сразу; кстати, нужно было дождаться и посланных за ранеными казаков.

— Ты в наступление ходил или в тылу оставался? — спросил он Шелкунова.

— Как можно, чтобы в тылу, ваше сиятельство! — удивился такому предположению о нем Шелкунов. — Я в цепи был... Подошли мы к речке, — ну, там не глубже пояса оказалось; бегим дальше, а там водяная канава, да глубокая, не перейдешь, а перескочить ежли, тоже

без разбега не перескочишь. Один другому подсобляли, кое-как перешли, только что враг дюже донимал пулями. Сидел он в канавках махоньких, издаля его не видно нам было. Ну, мы добежали — колоть его!.. Он бежать, мы за ним!.. Кухню ихнюю опрокинули, — должно, кашу варили: не разглядел я... Мы бы его и дальше гнали, когда на тебе, сигнал нам дают, — отходи назад! Отошел было за канавку, а жалко было дальше иттить: дюже место хорошее. Пошто, думаю, не попользоваться? Сел я да давай по нем палить. Кто вперед вылезет, того и свалю. Однако что станешь делать, — расстрелял ведь патроны все... Я немного назад отошел, — мушкатор наш лежит убитый. Снял я с него сумку с патронами, ружье тоже взял, еще пять выстрелов дал... Отступя чуток, раненых наших трое. Вот я им тогда и говорю: «Ползи, говорю, братцы!» Они ползут, а я стреляю. Потом вижу, не доползут ну-ка, — я их и притащил на себе, потом опять туда.

— Ты откуда же родом? — спросил Горчаков.

— Из Сибири я, Енисейской губернии, ваше сиятельство.

В это время поднимались уже казаки, подобравшие раненых на седла. У одного из адъютантов князя была взятая на случай победы кожаная через плечо сумка с георгиевскими крестами. Горчаков подозвал его к себе, вынул крест из сумки и, нацепив его Шелкунову, сказал при этом тому же адъютанту:

— Запиши, что производится он, Шелкунов, в унтер-офицеры.

VIII

В девять утра шестичасовой и упорный, несмотря на большое неравенство положения противника, бой на Черной речке окончился. Канонада, правда, продолжалась с неослабевающей силой, но пехотные части больше уж не вводились в дело. Приказав Липранди вывести из-под обстрела свой отряд, Горчаков верхом, как был, отправился на правый фланг, начальником которого он себя объявил после доклада Менькова о смерти Реада. Огромной свиты своей он не взял, оставив ее в безопасном месте, но ездить совсем без свиты он не мог, не умел, — этого не было в его привычках, — и теперь сопровождали его: неизменный Коцебу, барон Вревский и два

адъютанта, не считая нескольких казаков.

К этому времени Белевцев отвел уже 5-ю дивизию, и долина Черной речки была очищена от войск, но не от множества тел убитых и тяжело раненных, хотя на каждом шагу попадались солдаты с носилками или с ружьями, перекрытыми шинелями, — уносили подававших еще признаки жизни.

Дым и туман в долине продолжали стоять плотно, и над головой то и дело пролетали, повизгивая, снаряды, но Горчаков будто не замечал их, так что Коцебу, ехавшему с ним рядом, стало жутко: ему начинало казаться, что главнокомандующий русскими силами в Крыму так подавлен неудачей, постигшей его, что просто ищет смерти.

Себя самого Коцебу не винил ни в чем; привыкший к чисто канцелярской работе, он на ходу своей лошади уже сочинял про себя реляцию о сражении, в которой, конечно, ни одного слова не было о деятельности его, начальника штаба, как будто его и не существовало вовсе, — и реляция пестрела выражениями: «Главномандующий приказал...», «главнокомандующий, князь Горчаков, сделал распоряжение...» Действительно, в самом начале боя предугадав, — что было совсем не трудно, — каков будет его конец, Коцебу предпочитал не вмешиваться в ход сражения, а главное, не противоречить вождю.

Даже теперь, когда они ехали рядом и когда Горчаков сказал ему:

— Я уверен в том, что французы попробуют атаковать нас... Пусть попробуют!

Коцебу не выразил сомнения в этом, которое так и просилось ему на язык, он проговорил только с вызовом в сторону французов:

— О-о, тогда мы поменялись бы ролями! Тогда настало бы наше торжество!

Вревский ехал позади, чувствуя большую неловкость от явно неприязненного отношения к нему князя в этот день и не находя в себе ни достаточного тепла, чтобы растопить лед, ни силы воли, чтобы просто повернуть своего коня и уехать.

Да и куда было уехать от того, во что превратилась мечта его, взлелеянная еще там, в Петербурге, в военном министерстве, и одобренная не только Долгоруковым, но и самим царем? Наступление

на правый фланг противника совершилось, — план его, Вревского, был воплощен, — и что же?

Он мог бы кричать на всю Россию, на весь мир, что воплощен бездарно, тупоумно, дико, в чем он совершенно не виноват; что составленная при его участии диспозиция совершенно как бы позабыта была с самого начала боя; что гарнизон Севастополя нисколько не помог делу, потому что ему даже и не дали сигнала о выступлении; что многочисленная, безусловно сильная артиллерия совсем почти не принимала участия в сражении... и многое еще.

На Телеграфной горе он говорил об этом Липранди, и Бутурлину, и Ушакову 2-му, но не Горчакову, не тому, от которого в конечном счете зависела вся путаница, приведшая к постыдному поражению с огромным количеством жертв. Горчаков сознательно избегал разговора с ним, Вревским, представителем в его штабе не кого иного, как самого императора.

Именно об этом последнем все хотелось Вревскому напомнить главнокомандующему, дать понять ему, что ведь вместе с его реляцией, которая будет составлена, может быть, и красноречиво, но лживо, будет отослано в Петербург князю Долгорукову его пространное и безусловно правдивое письмо, которое он со всею прямою и честностью мысли должен будет закончить так: «Хотя князь Горчаков и остался в этом неудачном по его вине и кровопролитнейшем сражении жив, но тем не менее заменить его на посту главнокомандующего в Крыму генералом Лидерсом, как о том я писал вашему сиятельству ранее, совершенно необходимо».

Этот рой мыслей и соображений, кипевший в голове Вревского, вдруг рассыпался: прожужжало мимо него ядро и оторвало силой полета рукав его наброшенной на плечи шинели. Оторвало, правда, не совсем и по шву, от плеча.

Когда мимо нас промчится явная смерть, мы, кто бы мы ни были, приходим в понятно возбужденное состояние, особенно на людях. Вревский, скинув с себя шинель и осматривая оборванный рукав, сказал одному из адъютантов, князю Мещерскому, улыбаясь:

— Вот доказательство того, что портной шил эту шинель гнилыми нитками!

Он сказал это громко, и ему хотелось, чтобы Горчаков остановился и выказал ему участие, конечно, необходимое в подобных случаях; но Горчаков даже не обернулся назад, и, глядя в его спину, Вревский презрительно кривил свои полные губы: был хороший повод наладить разговор с ним и пропал бесследно.

Однако минуты через две новое ядро раздробило обе передние ноги его лошади. Это было уже серьезнее: лошадь упала, едва не придавив его, — он с трудом успел соскочить.

— Плохой знак, ваше превосходительство! — обеспокоенно обратился к нему Мещерский. — Второй раз задевает вас ядро! Вам лучше бы удалиться отсюда.

— Подождем третьего ядра, — улыбаясь, но глядя в сторону Горчакова, отозвался на это Вревский, внутренне взбешенный тем, что даже и теперь главнокомандующий не обернулся и продолжал ехать дальше, а за ним, по долгу службы, двигались и адъютанты и казаки конвоя.

— Постой-ка, братец, дай-ка мне своего конька, — остановил одного из казаков Вревский.

Тот послушно прыгнул с седла, но как раз в это время третье ядро отыскивало голову Вревского.

Казак неистово закричал, весь обрызганный кровью и мозгами генерал-адъютанта, и сначала остановилась свита Горчакова, потом, наконец, и он сам.

— Что такое там случилось? — спросил он Коцебу.

— Говорят, убит ядром Вревский, — сказал тот.

— А-а, — неопределенно протянул Горчаков; потом он снял фуражку, перекрестился, повернул лошадь и, не взглянув на то, что осталось от вдохновителя боя, поскакал к Мекензиевым горам.

Обезглавленное тело барона подобрал казак, перекинул его через седло и так довез его до площадки, на которой расположился перевязочный пункт и где рядами лежали уже многие умершие от ран.

IX

Тело другого виновника поражения, Реада, вынесено не было: оно так и осталось около Екатерининской мили и было найдено в куче трупов на другой день французами, похоронившими его с почестями

сообразно с его высоким чином и, пожалуй, даже с той услугой, которую он оказал им, посылая под их картечь, пули и снаряды один за другим русские безотказные полки.

Другие такие же полки, собранные на Корабельной стороне для вылазки под начальством Хрулева, целое утро до обеда ожидали сигнала, прислушиваясь к раскатам канонады.

Ожидание было напряженное, тревожное. Тревога была за Севастополь, за его участь, которая решалась там, на Черной речке, а что участь Севастополя решалась именно в этот день, понимал всякий матрос, всякий солдат.

Сигнальные, наблюдавшие с брустверов за неприятелем в подзорные трубы, еще в седьмом часу утра доносили однообразно радостно: «Уходят французы? Очищают траншеи!»

Французы действительно очищали траншеи и уходили в восточном направлении, к Сапун-горе, к Федюхиным высотам. Хрулев без промедления дал знать об этом Сакену, сидевшему в библиотеке, но тот все внимание свое отдал оптическому телеграфу, который должен был принять сигнал к вылазке.

По этому сигналу он в свою очередь должен был снять с гарнизона Городской стороны десять батальонов и отправить их на Корабельную в распоряжение Хрулева, однако Хрулеву момент для атаки представлялся до того удачным, что он готов был начать вылазку и с теми силами, какие у него были, лишь бы получить для этого не прямое приказание даже, а только согласие, только намек...

— Эх, захватили бы в полчаса столько, что им бы у нас потом не отбить и в полгода! — сокрушался Хрулев и все глядел туда, на восток, где гремела свирепая канонада, но там не видно было, конечно, ничего, кроме белого дыма в небе, висевшего подобно туче.

На этот дым смотрели во все глаза со всех бастионов, каждую минуту ожидая приказа начать орудийную стрельбу, так как ранним утром все батареи получили письменные указания, против каких именно позиций противника одновременно по всей линии должны они были открыть сильнейший огонь.

И все было приготовлено на бастионах для этого огня, предшественника вылазки, но... час проходил за часом, — огня не

открывали.

Батареи противника тоже молчали: пушки говорили там, на Черной речке, здесь же дан был им отдых, заслуженный, правда, но тем не менее обидный.

К полудню для всех уже, от старших и до самых младших из защитников Севастополя, стало ясно, что там не осилили врага, что успеха, который дал бы возможность занять опустевшие траншеи французов, не добились.

Не добились успеха — это становилось все ясней каждому, но в полнейший неуспех, в поражение русских войск никто все-таки не хотел верить, так как канонада продолжалась.

Однако после полудня и канонада стала ослабевать, наконец и совсем почти прекратилась — явный признак того, что русская армия отступила на дистанцию, превышающую дальность неприятельских снарядов, а союзники, обессилены они были боем или нет, решили ее не преследовать.

Уже к одиннадцати часам дня все русские полки были снова оттянуты на Мекензиевы горы, очистив таким образом место для наступления французским войскам, однако это все не входило в планы Пелисье, который довольно долго потом, когда утихла уже перестрелка, красовался на Трактирном мосту, окруженный генералами, и усиленно разглядывал в зрительную трубу расположение русских войск на противоположных высотах.

Батальон зуавов приводил в порядок предмостное укрепление, а на Телеграфной горе устраивались по-прежнему сардинцы.

Издали, с гор, казалось, что в стане врагов действительно как будто все по-прежнему, точно штурмующие колонны полков 12-й и 17-й дивизий, пробившись сквозь лаву картечи и штуцерных пуль бельгийского образца, не доходили до самой вершины Федюхиных гор.

Но не так было на деле. Если артиллерия русская не принимала участия в штурме высот, то штыки работали на совесть, когда удавалось сходиться и скрещивать их со штыками французов.

Имея все преимущества на своей стороне, войска Пелисье все же потеряли в этот день до двух тысяч человек; русские полки — еще

больше, так как и наступали и отступали они под непрерывным огнем, и очень дорого обошлись им обе переправы. Одиннадцать генералов выбыло из строя, из них трое убитыми, и двести пятьдесят офицеров. Семь медиков перевязочного пункта работали неустанно с утра до поздней ночи. Большая поляна на Мекензиевых горах, на которой разбиты были операционные палатки, была сплошь завалена ранеными. Отрезанные руки и ноги зарывали тут же, между кустами. Лазаретные фуры и полуфуры, а также обывательские подводы немцев-колонистов отвозили перевязанных дальше. Иногда, выбиваясь из сил, медики хватали кровавыми руками сухарь и, жуя его, запивали водой из баклажки, потом принимались снова за ланцеты... А раненых снизу все несли и несли.

Несколько иначе подкреплялся Коцебу, сидя поздно вечером в хорошо обставленной и неплохо освещенной землянке генерала Бухмейера за ужином с вином и фруктами.

Наскоро рассказав ему, возившемуся целый день со своим мостом через Большой рейд, впечатления от неудачного боя, он добавил не без горечи, однакоже и без большого уныния:

— Нет, любезнейший Александр Ефимович, я вижу теперь, что у нас ничего нельзя предпринять, потому что все, все, решительно все выходит наоборот? Все получается совершенно противно моим распоряжениям! Ведь я каждому объяснял, показывал на карте, что надобно сделать. Спрашивал: «Поняли?» Отвечали мне: «Как же не понять? Что же тут непонятного, помилуйте?» Что непонятного? Ничего, конечно, не было непонятного, все было азбучно просто. Но отчего же, спрошу я вас, отчего дивизия, которой следовало стоять налево от дороги, очутилась вдруг направо, другая, которой надобно стоять уже на линии огня, торчит еще почему-то в лагере?.. Нет, я сегодня так много испытал, что страшусь уже предпринимать когда бы то ни было что-нибудь решительное! Довольно!.. Ничего не выходит и ничего, решительно ничего не может выйти! А все-таки, какая это была картина, когда семнадцатая дивизия штурмовала Федюхины! Ах, как жалел я тогда, что со мною рядом не было моего брата Александра — художника? Конечно, если бы приехал он из Мюнхена, он был бы сегодня со мной, и тогда... Гениальнейшее произведение своей кисти

он мог бы создать по наброскам, какие бы сделал с натуры!

Горчаков же в эту ночь, лунную и тихую, заперся в своей спальне, долго молился, стоя на коленях, и плакал, а несколько придя в себя, начал писать «всепогоднейшее донесение».

«Я мало рассчитывал на удачу, — писал он, — но не думал, что понесу столь большой урон. Порыв, оказанный всеми частями войск наших, имел бы, без сомненья, счастливый исход, если бы генерал Ред не сделал преждевременной частной атаки вместо той, которую я предполагал сделать совокупно войсками его и генерал-лейтенанта Липранди, непосредственно поддержанными главным резервом».

Свалив на мертвого всю вину за неудачу боя, Горчаков писал потом уже гораздо более искренно и правдиво:

«Войска дрались с примерным мужеством. Пехота явила в сей день опыты самой блестящей храбрости, преодолела под убийственным огнем двойное препятствие (реку и канал) и неоднократно выбивала штыками превосходного по численности противника из сильных позиций, укрепленных окопами, искусно приспособленными к местности...»

«Артиллерия, невзирая на относительные невыгоды ее расположения, действовала с большим успехом: не раз заставляла она молчать неприятельские батареи, расположенные на господствующей местности, и сильно поражала пехоту...»

Донесение это рано утром повез царю флигель-адъютант Эссен, но как раз в это время, когда выезжал он из ставки главнокомандующего, началась генеральная, пятая по счету, давно подготовлявшаяся и весьма старательно подготовленная бомбардировка Севастополя.

Глава третья. Пятая бомбардировка

I

Две крепости одиннадцать месяцев стояли одна против другой: патриархальная русская Троя, возникшая наскоро, на авось, на глазах у многочисленного врага, внизу, у берегов узкого морского залива, и

гораздо более сильная, устроенная на высотах над нею и по последнему слову техники, крепость четырех союзных европейских держав.

И если русские генералы, повинувшись указке из Петербурга, не задумались бросать на приступ твердынь интервентов на Федюхиных горах полк за полком своей безотказной пехоты, которой на помощь где не успела, а где и совсем не могла прийти артиллерия, то гораздо расчетливей оказались их противники: чрезмерно богатые снарядами, они всячески берегли людей.

Крымская война и без того уже стоила слишком много союзникам, затянувшись, по мнению политических деятелей Лондона и Парижа, на непростительно долгий срок; огромное число потерь, понесенных армиями англичан и французов, и без того уже испугало тех, кто легкомысленно начинал войну на Востоке.

Несчастное словцо Горчакова «начинать» двинуло войска злополучного Реада в атаку почти за полверсты от французских батарей, совершенно необстрелянных, так как снаряды русских пушек туда не долетали. Траншеи интервентов были уже местами всего в нескольких десятках сажен от валов русских бастионов, и почти каждый снаряд, — французский он был или английский, прицельный или навесный, — находил свои жертвы, приносил свой вред.

Казалось бы, все уже было подготовлено маршалом Пелисье и другими генералами союзных армий для несомненной удачи штурма Севастополя, но свежа еще была память о 6/18 июня, а успех отражений русских атак на Федюхины горы достался не такой уж дешевой ценой. Главное же, дело на Черной речке показало Пелисье и другим, что представляет из себя русский солдат, даже и предводимый совершенно бездарными генералами.

Беззаветная храбрость русских полков, лезших на неприступные горы, явилась причиной того, что бомбардировка, начатая утром 5/17 августа, была заранее рассчитана союзным командованием не только на огромнейшую интенсивность, но еще и на очень долгое время, чтобы выбить, наконец, у героического гарнизона даже и самую мысль о возможности сопротивляться, когда начнется общий штурм бастионов.

В превосходстве своего огня над огнем защитников Севастополя интервенты не сомневались — это было учтено и взвешено точно, — и бомбардировка, начатая ими, должна была не только непоправимо разметать все верки, но еще и придавить их остатки миллионом пудов чугуна так, чтобы дело обошлось совсем без штурма, чтобы не для уборки трупов, а в целях сдачи крепости заплескали, наконец, в один прекраснейший день белые флаги, которых слишком заждались в нескольких европейских столицах.

Ровно в пять утра пять батарей французских, расположившихся на бывшей Камчатке, начали канонаду: весь Зеленый Холм (Кривая Пятка) сразу окутался плотным дымом, сквозь который замелькали желтые огоньки выстрелов, а не больше как через минуту загрохотало, засверкало и заklubилось во всю длину неприятельских батарей вправо и влево от Камчатки...

Как будто возобновился тот самый, прерванный ровно два месяца назад бой за второй и третий бастионы и за Малахов курган, потому что на них и на куртину между Малаховым и вторым бастионом был направлен весь ураган разрывных и сплошных снарядов.

Давно уже не было дождей; земля всюду на бастионах, — сто раз перемотыженная и перешвыренная с места на место лопатами земля, — расселась, растрескалась, расслоилась и теперь взвивалась густою пылью над глубоко уходившими в нее ядрами интервентов. А огромные — пяти — и семипудовые взрывчатые снаряды взметывали уже не пыль, — целые земляные смерчи; местами же обрушивались с брустверов во рвы, ссовывались вниз сдвинутые взрывами до середины рыхлые насыпи, увлекая за собой и туры, и фашины, и мешки... То, на что рассчитывали, — ошибочно, как оказалось, — инженеры и артиллеристы интервентов в первую бомбардировку — 5/17 октября, было достигнуто ими теперь, в двенадцатый месяц осады: земля бастионов оставалась та же — хрящеватая, сухая, очень опасная для тех, кто доверился ее защите, но число осадных орудий выросло вдвое, причем мортир среди них стало больше в несколько раз.

На помощь союзникам пришел в это утро и ветер, который гнал густые тучи дыма на русские батареи, и уже в первые несколько минут

канонады все вздернулось на дыбы, напряглось до последних пределов сил, отведенных человеку...

Дым от своих орудий, туча чужого дыма, заслонившая все кругом, так что и в двух шагах не было ничего видно; ежесекундные взрывы неприятельских снарядов; гул и треск, и мелкие камешки, срываясь с насыпей, бьют в лицо, как град, и около падают иные разорванные, иные стонущие товарищи; и все же, не теряя ни одного мгновенья, нужно заряжать и посылать ответные ядра и гранаты... Куда посылать? — Неизвестно: нет ни малейших возможностей для прицела...

Траншеи противника были пусты: только артиллеристы работали там около орудий, разбившись на три смены, и чуть начинала выбиваться из сил или выбиваться русскими ядрами одна смена — место ее заступала другая.

Совсем не то было на севастопольских бастионах: они были переполнены людьми. Никто из начальствующих лиц, начиная с самого Горчакова и Остен-Сакена, не ожидал, что канонада затянется надолго, поэтому для отражения штурма были собраны на бастионах испытанные полки.

Они таились до времени в длинных и в надежных, казалось бы, подземных казармах-блиндажах, но в эту бомбардировку в дело введены были союзниками новые сильнейшие мортиры, от которых не спасали уже ни двойные накаты из толстых бревен, ни двухметровые пласты утрамбованной земли над накатами блиндажей.

Даже если бомбы и не врывались внутрь блиндажа, действие их все-таки было ужасно, так как вниз, на плотные массы солдат, валились бревна, и раздавленные ими тела засыпало землей, как в готовой могиле.

Обилие орудий и снарядов позволяло англо-французам скрещивать огонь многих соседних батарей на каком-нибудь одном из русских укреплений, и тогда буквально не было на нем места, где бы не падал снаряд, истребляя всю живую и чугунную силу его в две-три минуты.

Теперь уже не только простодушный кубанец, пластун Трохим Цап, но и любой из самых привычных и опытных артиллеристов русских мог бы сказать: «Это уж не сражение — это душегубство!» И, однако, все

стояли на своих местах и делали свое дело около орудий.

В одних рубашках, мокрых от пота и черных от дыма, в таких же парусиновых шароварах, в бескозырках, сдвинутых на затылок, а где и совсем без них, в черных форменных галстуках, а где и сорвав их с себя, чтобы не давили шеи, то и дело стряхивая и смахивая пот со лба, чтобы не ел глаза, действовали матросы, командуя при этом не словами, — сильными жестами и выпадами подбородков, теми солдатами, которые были присланы им в помощь.

Только изредка слышали солдаты ободряющее рычание матросов:

— Что? Жарко?.. Не рроть, братцы!

И вдруг взлетал на воздух или отбрасывался далеко в сторону, мелькнув широкими парусиновыми шароварами, матрос, и солдат, его ученик, тут же становился на его место: смерть была не страшна, потому что не было около шага земли, где бы не было смерти.

Люди сами не замечали, как переходили они за тот предел, куда не забиралась, не могла забраться боязнь, где сохраняется только сознание какого-то одного общего и совершенно неотложного дела, но теряется иногда надолго ощущение того, что твоей жизни угрожает опасность.

И что такое эта опасность? Мысль о том, что ты можешь потерять руку, ногу, что в твою грудь или в живот вопьется осколок и причинит тебе много страданий? Здесь даже этой мысли неоткуда было взяться: раненых почти совершенно не было в этот день на бастионах, были только убитые наповал, разорванные в куски...

Залпы семипудовых мортирных батарей в первый раз за все время осады именно в эту бомбардировку были применены французами, и действие этих залпов было таково, что в несколько минут совершенно изменялся внешний вид укрепления, так что его не узнавал даже и тот, кто им командовал.

Ранение Тотлебена и смерть Нахимова помешали укрепить Корабельную сторону так, как это хотел сделать первый: вместо ста двадцати новых орудий большого калибра было поставлено только сорок; поэтому батареи второго бастиона и Малахова кургана не могли выдержать борьбу с батареями французов. Семипудовая бомба взорвала около полудня пороховой погреб на втором бастионе; две

другие такие же бомбы пробили крыши двух бомбохранилищ на Малаховом, и взрывы собственных бомб произвели огромные опустошения. К вечеру оба эти бастиона умолкли.

Весь день этот ядра, гранаты и бомбы густой и жадной стаей летели также и в город, ложась там, где их не видели раньше. Сплошь были завалены к концу дня щедро расточаемым чугуном улицы и площади, которые стали не только непроезжи, даже непроходимы от огромных воронок. Дома, еще накануне имевшие нетронутый вид, теперь лежали в развалинах; кресты с церковей и колоколен сбиты.

Мало уже оставалось жителей в Севастополе к утру этого дня, но и те с началом бомбардировки кинулись спасаться частью в Николаевские казармы, большей же частью на Северную, куда перевозили их яличники, бывшие матросы.

Старики эти, из которых иные были участники Назаринского боя, спокойно относились к канонаде. Геройство это было с их стороны или нет, об этом они не думали, — перевоз давал им заработок, и этого с них было довольно. Но когда на середине бухты видели они рыбу кверху брюхом, они сокрушенно качали седыми головами и говорили своим пассажирам:

— Ишь, подлюги, рыбы-то сколько глушат снарядами зря!

Все они были не только перевозчиками, но и рыбаками тоже, и в этот день, так же как во всякий другой, в каждом ялике торчали связка удочек, сачок и ведро с пойманными на ранней заре горбылями.

II

Два бастиона Корабельной стороны все-таки вполне успешно состязались с осаждающими в этот грохотавший неслыханными громами день: первый, изумивший французов, и третий, одержавший решительную победу над англичанами.

Хотя усилия целой Англии были направлены только к тому, чтобы овладеть третьим бастионом, но это уж не казалось такою новостью для третьего бастиона, как в первую бомбардировку, в октябре. Враг был давно уже обследован, освоен. Если не было уж на бастионе, как тогда, в октябре, бравого капитан-лейтенанта Евгения Лесли, то был штабс-капитан артиллерии Дмитрий Хлапонин, который помнил, стоя

на своей батарее, как говорил когда-то Лесли: «Погодите, господа англезы, мы вам расчешем ваши рыжие кудри!..»

И расчесали действительно в этот день.

Еще в седьмом часу был уже взорван у англичан большой пороховой погреб.

Увидев это, кричали «ура» на бастионе и батареях Будищева, Никонова, Перекомского, вошли в азарт и не больше как через полчаса взорвали другой погреб...

К вечеру пять погребов было взорвано у англичан и около половины батарей сбито.

Конечно, сильно пострадал при состязании и бастион, особенно его исходящий угол, но к этому уж привыкли, что исходящий угол при каждой сильной бомбардировке разрушался до основания, а наутро возникал вновь.

На третьем бастионе стоял в блиндажах Охотский полк, который только что приготовился было отпраздновать свой полковой праздник не менее пышно, чем праздновал он 1 мая полугодовую страду свою в Севастополе. Полковой праздник охотцев — «преображение господне» — приходился на шестое число, а пятого началась канонада, совсем другой праздник, праздник смерти и разрушения, — но все-таки не будни же, так как напряглись до предела все человеческие силы.

От взрывов погребов у англичан пять раз дрожало все на бастионе, как во время землетрясения. Батареей Будищева командовал теперь, чтобы оправдать ее имя, младший брат основателя ее, лейтенант Будищев, такой же приземистый, косоплечий и озорноватый. Большие снаряды к бомбическим орудиям отпускались по счету, по девяти штук, но лейтенант, стоя у такого орудия, вошел в раж, свойственный и его покойному брату.

— Сколько снарядов из этой выпустили? — спросил он.

— Да уж все девять, — ответили ему.

— Э-э, черт, валяй, в мою голову, десятый для ровного счета! — энергично махнул рукой Будищев, и незаконный снаряд был послан, и он-то взорвал самый большой из английских погребов.

Полевая батарея, которой командовал Хлапонин, была в резерве, но он знал, что ее со всей поспешностью нужно будет придвинуть к

передовой линии для отражения штурма. Этого штурма ожидали рано утром на другой день, думая, что вошел уже в привычку у союзников такой именно порядок действий: развивать бешеную канонаду в течение суток и потом идти на приступ.

Дмитрий Дмитриевич совершенно успел втянуться в прежнюю жизнь еще там, в лагере на Инкерманских высотах. Когда он получил назначение на третий бастион, был период сравнительного затишья, так что, попав опять туда же, где был он контужен в голову в октябре, он как будто, — с очень большим перерывом, правда, — продолжал стоять на страже Севастополя там же, где начал.

Не было здесь совсем ни одного офицера из тех, кого он припоминал, и самый бастион почти неузнаваемо изменил свой вид, и в то же время как-то неразрывно крепко сплелось в Хлапонине то, что рисовала ему память с тем, что он видел и слышал теперь.

Матросов стало уже гораздо меньше, чем было тогда, девять месяцев назад, но зато каждый из них сделался куда заметней в массе солдат. И тот морской строй службы, какой ввели матросы здесь, на суше, он все-таки остался. Не вывелись морские команды, и солдаты, назначаемые к орудиям, изо всех сил старались подражать во всех приемах матросам.

Никто не мог объяснить Хлапонину, кто и когда назвал третий бастион «честным», но ему очень нравилось это название, особенно когда он слышал, как на его же батарее говорили между собою солдаты:

— Это ж вы знаете, братцы, на какой вы баксион попали? Называется баксион этот «честный», так что тут уж дела не гады!

Хлапонин с кадетских лет привык к выражению «честь полка»; он вполне понял бы и выражение «честь бастиона». Но когда он услышал, что из всех севастопольских бастионов только один третий почему-то, — совершенно неизвестно почему именно, — даже среди солдат получил название «честного», он проникся и гордостью и радостью вместе, так как считал этот бастион своим.

Если на соседнем Корниловском бастионе несколько недель обитала сестра милосердия Прасковья Ивановна Графова, свидетелем гибели которой пришлось Хлапонину быть, то и на третьем жила совершенно бесстрашная женщина, матроска Дунька, имевшая прозвище Рыжей.

Перевязок делать она не умела, — она была бастионной прачкой. И не пришедшая она была, как Прасковья Ивановна, а здешняя: ее избенка, полупещера, стояла тут же, на бастионе, за батареей Будищева.

Муж ее, матрос, был убит еще в октябре, а через месяц после того похоронила она двух своих ребятишек, задетых осколками бомбы. Но, оставшись бобылкой, все-таки никуда не ушла из своей полупещеры, не уходила и тогда, когда получала приказания уйти. На нее, наконец, махнули рукой.

Неробкое, конечно, и раньше, скуластое, курносое обветренное лицо ее сделалось после всех понесенных ею потерь явно вызывающим, чуть только дело касалось неприятельских бомб, ядер и штуцерных пуль. Но так как бомбы, ядра и пули, реже или гуще постоянно летели на третий бастион, то рыжеволосая голова, чаще открытая, чем повязанная платком, обычно сидела прямо на шее, украшенной ожерелкой из цветного стекляруса, и серые круглые глаза глядели по-командирски.

О мойке офицерского белья заботились денщики; Рыжая Дунька мыла белье матросов, бессменно стоявших у орудий, а полоскать его таскала на коромысле к бухте, на Пересыпь. Для просушки же белья у нее протянуты были веревки около хатенки.

Иногда пули, иногда осколки снарядов перебивали эти веревки, и Дунька ругалась отчаянно, приводя свое хозяйство в порядок. Но случалось и так, что в грязную пору ядро ли падало, бомба ли взрывалась около, и обдавалось все развешенное на веревках белье густою грязью. Вот когда приходила в полное неистовство Дунька и когда ругательства ее достигали наивысшей силы.

Если же белье пострадать от бомбардировки не могло по той простой причине, что было только что снято или же роздано давальцам, а бомбы падали недалеко от ее хатенки, как хохотала Дунька над своими кавалерами-солдатами, которые бросались от нее к траверзам и блиндажам прятаться от обстрела. Подперев руками крутые бока, отвалив назад рыжую голову, хохотала во всю свою звонкоголосую глотку, а снаряды между тем рвались поблизости.

Полнейшее презрение к смерти и бабье упорство в этом презрении — вот чем держалась бобылка Дунька, и смерть почему-то обходила ее

стороной, даже когда она под штуцерными пулями полоскала белье на Пересыпи.

Хатенка ее тоже утвердила каким-то способом право свое на жизнь во что бы то ни стало и стояла себе нерушимо, несмотря ни на какой обстрел.

Крепко приросший к третьему бастиону матрос-квартирмейстер Петр Кошка был довольно частым гостем в этой хатенке, так как у Рыжей Дуньки водилась водка, а люди они оказались вполне одной породы.

После той легкой раны штыком, какую получил Кошка еще зимою в одной из вылазок под командой лейтенанта Бирюлева, он не был ни разу ни ранен, ни контужен. На корабле «Ягудиил», куда его списали с бастиона по приказанию Нахимова, просидел он недолго, в вылазки же потом напрашивался и ходил почти каждую ночь, захваченное при этом английское снаряжение продавал офицерам, и деньги у него бывали.

Конечно, Хлапонин, едва устроившись со своею батареей на третьем бастионе в июле, захотел посмотреть на храбреца, о котором ходило много разных рассказов даже в Москве; а в «Московских ведомостях» приводился случай, что какой-то предприимчивый вор, раздобыв матросскую форму и выдав себя за раненого Кошку, отправленного сюда в госпиталь на излечение, обокрал квартиру одного доверчивого, хотя и имеющего крупный чин обывателя, созвавшего даже гостей ради «севастопольского героя».

К Хлапонину подошел строевым шагом матрос в черной куртке и белых брюках, с унтер-офицерскими басонами на погонах, со свистком на груди и с георгиевским крестом в петлице и сказал, стукнув каблуком о каблук:

— Честь имею явиться, ваше благородие!

Он был очень черен — загорел, закоптился в орудийном дыму, — сухощек, скуласт, с дюжим носом и дюжими плечами; глядел настороженно выжидающе, так как не знал, зачем его позвали к новому на бастионе батарейному командиру.

— Здравствуй, Кошка! — улыбаясь, сказал Хлапонин.

— Здравия желаю, ваше благородие! — отчетливо ответил Кошка, подняв к бескозырке руку.

— Какой ты губернии уроженец?

— Подольской губернии, Гайсинского уезда, села Замятинцы, ваше благородие, — привычно и быстро сказал Кошка, еще не успев определить, будет ли дальше от этого офицера какое-нибудь дело, или один только разговор, как и со многими другими офицерами, особенно из приезжих.

— О тебе я в Москве слышал, что ты один четырех англичан в плен взял, — улыбаясь, начал, чтобы с чего-нибудь начать, Хлапонин.

— Четверёх чтобы сразу, этого, никак нет, не было, ваше благородие, — неожиданно отрицательно крутнул головой Кошка. — А по одному, это, кажись, разов семь приводил.

— Четырех одному, конечно, мудрено взять, — согласился с ним Хлапонин.

— Ведь они, англичане эти, не бараны какие, ваше благородие... Ты его к себе тянешь, а он тебя до себе волокет. А из них тоже попадаютса здоро-овые, — с большой серьезностью протянул Кошка.

— Раз я с одним таким в траншейке ихней схватился, так только тем его и мог одолеть, что палец ему откусил! Стал он тогда креститься по-нашему, а лопотать по-своему: «Християн, христиан! Рус бона, рус бона!..» Значит: «Не убивай меня зря, а лучше в плен веди». Ну, я и повел его. Да еще как бежал-то он к нам швидко, как ихние стали нам взад из транчеи палить!.. Тут я два ихних штуцера захватил, — его один да еще чей-то... Обои после того продал господам офицерам... Может, и вам прикажете расстараться, ваше благородие?

— Что? Штуцер английский? Валяй, расстарайся, братец! — и слегка хлопнул его по плечу Хлапонин.

— Есть расстараться, ваше благородие!

На этом разговор с Кошкой окончился к обоюдному удовольствию, и дня через два после того у Хлапонина появился штуцер.

Первый день пятой бомбардировки Севастополя оказался злополучным и для Рыжей Дуньки и для матроса Кошки. Большое ядро разнесло хатенку Дуньки, с утра ушедшей на Пересыпь полоскать белье, а Кошке вонзился обломок доски в ногу. Рану эту, правда, отнесли на перевязочном к легким, но все-таки неуязвимый, казалось бы, храбрец в первый раз за все время осады выбыл из строя.

III

В Михайловском соборе, где венчалась Варя и где тогда было три пробоины в куполе, хранилось до ста пудов восковых свечей. Пятипудовая бомба угодила как раз в купол, обрушила его вниз, добралась до свечного склада и взорвалась именно там. Свечи после того стремительно вылетели во все отверстия в стенах и через купол, и после находили их всюду кругом, даже на крышах отдаленных домов.

По Екатерининской улице бомбы и ядра летели теперь вдоль, — так были установлены новые батареи французов. Почти то же самое было и на Морской, где еще недавно около домов толпились пехотные резервные части, где они обедали и отдыхали.

Только небольшая площадка перед Графской пристанью и дальше площадь около огромнейшего здания Николаевских казарм, при форте того же имени, оставались пока еще вне обстрела.

В июне и в июле, когда орудийная пальба протекала обычно, солдаты, стоявшие в прикрытиях на бастионах, изощрялись в придумывании разных шуточных названий для бомб противника в дополнение к тем, которые уже повелись с начала осады и успели прискучить. Так о двухпудовых, издававших благодаря своим кольцам какой-то особенный свист и тяжкое тарахтение, говорили полупрезрительно: «Ну, молдаванская почта едет!» — а за пятипудовыми почему-то укрепилось длинное и сложное название, произносимое, впрочем, скороговоркой: «Вижу, вижу, тут все прочь!» Все и разбегались кто куда, чуть только завидев это чудовище.

Семипудовых не успели еще окрестить никак, — некогда было; «крестили» бастионы и батареи русские они, и делали это внушительно до того, что Горчаков вечером пятого августа писал царю на основании донесений:

«Огромное бомбардирование, вероятно, скоро доведет нас до необходимости очистить город. Надеюсь, что до этой крайности мы не дойдем до окончания моста через бухту, но вашему императорскому величеству надобно быть готовому на все. Дело натянуто до крайности. Армия ваша и я, мы делали все, что могли, и едва ли

заслуживаем в чем бы то ни было упрека, но постоянное числительное превосходство неприятеля, неимоверные всякого рода средства, которыми он располагает, не могли не повлечь за собою окончательного перевеса в пользу союзников. Видно, такова воля божия. Надобно покориться ей со свойственным русскому народу вашему самоотвержением и продолжать исполнять свой долг, какой бы оборот дела ни принимали».

Гарнизон Севастополя «продолжал исполнять свой долг», хотя в первый день бомбардировки потерял тысячу человек, притом больше убитыми, чем ранеными; потери интервентов касались только артиллерийской прислуги и были потому меньше втрое.

Горчаков к концу дня пятого августа был подавлен все тою же неудачей данного им накануне сражения на Черной речке, так как видел, во что выросла эта неудача. Пятой бомбардировки он страшился, ее он хотел предотвратить, отсрочить, но она разразилась в заранее назначенный день, и результаты ее на Малаховом — в сердце обороны — были потрясающи.

Но гарнизон Севастополя, хотя и поражен был известием, что наступление полевых войск не удалось, однако не в такой степени, как главнокомандующий. И с наступлением темноты на Малаховом, как и на других бастионах и батареях, закипела обычная работа.

Однако по мере того как шла осада, усилия интервентов сводились к тому, чтобы свои возможности увеличить, а возможности осажденных сдавить.

Темнота ночи была спасительна раньше, когда осаждавшие имели мало мортир. Теперь она уже не спасала рабочих от больших потерь: прицельная стрельба прекратилась, навесная гремела едва ли не с большей силой, чем днем. И достаточно было одной семипудовой бомбы, чтобы совершенно разметать сложенный из мешков с землею траверс, в четыре метра шириною, в семь длиною. А подобные бомбы местами падали по двадцати, даже по тридцати штук сразу на небольшом пространстве.

Вместе с мешками, фашинами, турами далеко во все стороны разметывали бомбы работавших солдат, но подходили новые команды, и, поминутно спотыкаясь на трупы, мешки и обломки фашин,

проваливаясь в воронки и с ругательствами выбираясь из них, новые солдаты начинали работы снова.

Об этом знали, конечно, там, у противника, где шла точно такая же работа на батареях, развороченных целодневным огнем русских орудий, и оттуда летели бомбы не только на укрепления, но и на все подступы к ним.

За долгие месяцы осады очень хорошо, конечно, были изучены противником все дороги, ведущие к бастионам, дороги, по которым подходили команды рабочих и подвозились пушки на смену подбитых, снаряды, доски для платформ, туры и прочее, нужное для работ.

Огонь, открытый по этим дорогам с наступлением темноты, был заградительным огнем, опоясавшим бастионы, а в помощь ему стрелки из ближних траншей открыли самую частую пальбу, и пули летели безостановочным роем, так что от них гудела ночь.

Казалось бы, ничего нельзя было сделать под таким обстрелом, но все делалось, как было заведено делать.

Бомба, попадая в полуфурок с порохом, в мельчайшие клочья превращала и лошадей и бравых фурштатов, но следом за уничтоженными катил в темноте с наивозможной на совершенно загроможденной дороге быстротою, застревая здесь и там, то почти опрокидываясь, то погружаясь колесами в ямы, другой полуфурок. Если падала лошадь, простреленная пулей, фурштат отрезал постромки и добирался до бастиона на паре. Фурштатские лошади были худые, поджарые от постоянной гоньбы, но такие же двужилые, как и их кучера, и такие же равнодушные ко всякой смертельной опасности.

На втором бастионе, совершенно разбитом, командир его, капитан-лейтенант Ильинский, вздумал задержать батальон Замосцкого полка, пришедшего на ночные работы ввиду сильнейшего обстрела бастиона.

Он остановил его у горжи, объяснив его командиру причину такой заминки. Командир батальона с ним согласился, что лучше обождать, когда утихнет пальба, однако пальба не утихала, хотя простояли без дела больше часа, неся все-таки потери и здесь.

Начался ропот среди солдат:

— Что же это, уж не измена ли? Надо иттить работать, так чего же стоять зря? А то так и ночь пройдет, а утром «он» увидит и нагрянет, тогда шабаш.

Ропот дошел до батальонного командира, и тот скомандовал «шагом марш».

Ильинский был удивлен, когда без его ведома появились и начали привычно действовать лопатами и мотыгами замосцы, но согласился с тем, что усиленного огня все равно переждать было бы нельзя.

IV

Снова в пять утра французы и англичане начали пальбу из прицельных орудий, хотя мортиры их отнюдь не умолкли: снарядов был заготовлен большой запас. Между тем далеко не все подбитые на бастионах и батареях Корабельной стороны орудия успели заменить новыми и далеко не все мерлоны и амбразуры восстановить за ночь.

Уже к восьми часам утра одни русские батареи вынуждены были совершенно прекратить огонь, другие значительно его ослабить.

Кажется, достаточно было причин, чтобы начальнику гарнизона, графу Остен-Сакену, всерьез задуматься над участью Севастополя, но он в этот день занят был совсем другим.

Сто пудов свечей, так таинственно, однако и торжественно в то же время, вылетевших во все пробоины и окна Михайловского собора, убедили его в том, что с этим домом молитвы все уже кончено и что все «святыни», какие еще в нем остались, надобно перенести в безопасный пока от выстрелов Николаевский форт.

В это огромное здание с его толстыми каменными сводами переселилась уже исподволь вся администрация города, и командир всех укреплений Городской стороны Семякин, назвавший этот дом «депо наших генералов», был прав: до пятнадцати генералов и адмиралов скопилось в этом последнем убежище к началу пятой бомбардировки.

Тут разместились и жандармское управление и полиция; сюда же переведен был и городской перевязочный пункт, которым ведал теперь Гюббенет. Врачи и сестры милосердия занимали ряд отдельных помещений с покатыми потолками и небольшими, как парходные

люки, окошками на втором этаже. В нескончаемых коридорах нижнего этажа располагались резервные части. В нижнем же этаже помещались и лавки торговцев всем необходимым для огромного населения этого дома в полкилометра длиною. Тут была и бакалея, был и «красный» ряд, но больше всего, конечно, требовалось «горячих» напитков, и портером, элем, даже настоящим шампанским вдовы Клико, несмотря на дорогую цену на него, торговали здесь очень бойко.

Кстати, сюда же приносили теперь и устриц, продавая их ресторатору по тридцать копеек за сотню; и хотя этих устриц часто обвиняли в том, что они ядовиты, так как отравляются сами медной окисью, которая будто бы развелась в бухте от медной обшивки затопленных кораблей, но истребляли их во множестве.

В Николаевских казармах была уже довольно обширная домовая церковь, всячески украшаемая теперь стараниями Сакена; к этой церкви был причислен на предмет получения содержания от казны обширнейший штат священников из других упраздненных уже севастопольских церквей, так же как и монахов из монастырского подворья. И вот теперь, на второй день яростной бомбардировки, благо в этот день приходился праздник преображения, назначен был как раз перед поздней обедней перенос антиминса, хоругвей, икон, церковных сосудов и прочего в церковь форта.

Гремела канонада, взрывались здесь и там большие снаряды, горел в нескольких местах город, а по Николаевской площади торжественно двигалась с подобающим моменту пением процессия: полдюжины попов в золотых ризах, фельдфебели с хоругвями и, наконец, сам начальник гарнизона с князем Васильчиковым и адъютантами...

Нечего и говорить о том, какой восторг светился на лице Сакена во время обедни, но ему все-таки не удалось достоять ее: в одно и то же время бомба, хотя и не из больших, ворвалась в окно одной из лавок, и гул от ее взрыва наполнил все коридоры и переходы здания, и вестовой казак явился с донесением, что в город приехал главнокомандующий и направился на укрепления Корабельной.

Этих двух неожиданностей, конечно, было вполне довольно, чтобы прервать душеспасительные восторги Сакена и заставить его выйти из

церкви.

Бомба, влетевшая в окно лавки, наделала очень большого переполоху, так как все до этого верили в полную неуязвимость форта. Но по случаю обедни в лавке не торговали, и никто поэтому не пострадал; взрыв только превратил в кучу хлама всю бакалею, галантерею, бывшую в лавке, капризно оставив в целости одну лишь банку малинового варенья. Приезд же Горчакова обязывал Сакена устремиться навстречу.

Горчаков покинул свои высоты и переправился через рейд потому, что с часу на час ожидал штурма, и, когда бомбардировка перед полуднем ослабела, упрямо решил, что роковой час близок — вот-вот настанет.

Он был обеспокоен также и тем, как идут работы по устройству моста, с которым связывались все его планы по выводу из Севастополя гарнизона. Он всячески торопил и дергал, как только он умел дергать, Бухмейера. Кроме того, он знал, что в Охотском полку, стоявшем на Корабельной, полковой праздник, и ему хотелось поздравить полк в том случае, если опасения насчет штурма не оправдаются.

Конечно, с ним вместе появились на Корабельной и Коцебу, и Бутурлин, и Ушаков, и другие лица его свиты, и адъютанты, и конвойные казаки — целый отряд. Большой опасности они не подвергались, впрочем, так как был час передышки.

Был и еще один повод к тому, чтобы Горчаков вспылал вдруг желанием появиться на бастионах. Накануне перед тем, — в который уже раз, — услышал он во время ужина среди своих штабных, что Меншиков не бывал на бастионах. Язвили при этом, что светлейший «явно оберегал свою жизнь, столь необходимую для пользы государства».

Укладываясь после того спать, Горчаков упрямо решал про себя: «Меншиков не бывал на бастионах, боялся, значит, увечья и смерти, а я уж сколько раз доказывал всем, что не боюсь ни того, ни другой, докажу и теперь, непременно докажу, что ничуть не похож на Меншикова, и завтра же все меня увидят на Малаховом!»

Заснуть он долго не мог: ему все представлялось, что он непременно будет убит, если поедет в город, убит так же точно ядром или осколком гранаты в голову, как были убиты генералы Ред и

Вревский. Однако чрезвычайно трудное положение, в какое он попал как главнокомандующий, не предвещало ему ничего хорошего, ни малейшей удачи теперь, а будущее, после оставления Севастополя, представлялось еще более грозным.

Его брат, Петр Дмитриевич, будучи командиром шестого корпуса, стоявшего на Мекензиевых горах, надоел ему тем, что чуть ли не каждый день являлся к нему с донесением, что французы готовятся обходить его корпус.

— Э-э, знаешь ли, милый мой, — рассерженно сказал, наконец, старшему брату младший, — сегодня обходить, завтра обходить, это значит, что тебе самому надобно уходить!

— Куда же мне уходить? — не понял Петр брата.

— В отставку, в отставку, вот куда, в отставку! — ответил Михаил брату.

И старый Петр Дмитриевич действительно вскоре после этого подал в отставку.

Но теперь и самому Михаилу Дмитриевичу только и мерещилось, что его готовятся обходить, а может быть, уже обходят, и чуть только покончено будет с Севастополем, разгромят и все его полевые войска. Самым почетным выходом из крайне тяжелого положения казалось ему пасть смертью храбрых на боевом посту, там же, где пали уже боевые адмиралы — Корнилов, Истомин, Нахимов.

Барон Вревский не говорил ему, конечно, что уже прочат на его место генерала Лидерса, но по некоторым намекам его Горчаков безошибочно читал его мысли и теперь думал: «Ну что же, Лидерс так Лидерс... И очень жаль, что еще в феврале не назначили сюда Лидерса поправлять дело, которое было загублено непоправимо Меншиковым... Пусть Лидерс и попадет в ловушку, какая поставлена для меня, а честь моего имени останется незапятнанною».

Честью своего имени очень дорожил Горчаков и считал, что упрек за поражение на Черной должен лечь не на него лично, а на Реада, на Вревского, на других генералов, подавших голос за наступление, наконец на военного министра Долгорукова. Его же царь непременно оправдает и обелит от всяких нареканий современников и потомства, если... если он сумеет, если ему посчастливится сойти со сцены теперь

же, не дожидаясь катастрофы, которая вот-вот разразится.

Он ловил самого себя на зависти к Меншикову, которому удалось отстраниться так вовремя и под таким благовидным предлогом, как болезнь. «Хитрец, хитрец, — шептал он беззубо. — Вот так хитрец!..»

Он даже поднялся с постели, чтобы помолиться перед иконой Касперовской божией матери, вымолить себе такую же удачу, какая прилась на долю его предшественника, ославленного атеистом.

Действительно, трудно было понять, за что же ниспослана была свыше удача Меншикову — болезнь мочевого пузыря, — если даже архиепископ Иннокентий отзывался о нем, как о нераскаянном атеисте? То же самое говорил о нем и Остен-Сакен...

Страшнее всего казалось Горчакову то, что мост через Большой рейд не был доведен даже и до половины, несмотря на то, что он предоставил генералу Бухмейеру все возможности для ускорения работ.

Куда же отступить гарнизону Севастополя в случае, если штурм отражен не будет? А как может быть отражен штурм, если и второй бастион и Малахов в первый же день бомбардировки превращены в развалины?

Если перед сражением на Черной траншее французов были в пятидесяти саженях от рва Малахова кургана, то за несколько дней они могли придвинуться еще ближе, а это значит — приди и возьми!

Просвета не было. Надежд не оставалось. Сон не приходил.

Только когда в занавешенном окне спальни слегка забелела полоса утреннего света и почти одновременно с этим со стороны города грянула новая канонада, Горчакова охватило забытие, то странное забытие, когда кажется, что все кругом видишь и слышишь, с кем-то споришь, что-то доказываешь, и если не совсем ясно представляешь, что именно с тобой происходит, то потому лишь, что вся обстановка около меняется чрезвычайно быстро, — трудно уследить ее, мелькает, как карусель.

В девять утра Горчаков был уже на ногах и даже, несмотря на короткий и плохой сон, чувствовал себя бодро, так как твердо решил ехать на бастионы и не менее твердо объявил об этом Коцебу.

Большая свита главнокомандующего удивилась такому решению, но

тут же принялась готовиться к прогулке, которая могла оказаться кое для кого последней.

V

На Малаховом, по которому проходил вдоль стенки Горчаков, оставив вместе со своей свитой лошадей около горжи, его встретил Хрулев обычным рапортом, что на вверенной ему линии укреплений «все обстоит благополучно».

Конечно, до «благополучия» было тут очень далеко.

Корниловский бастион был разворочен, изрыт, как оспой, воронками, густо завален ядрами, осколками бомб и гранат, свежей щепой от разбитых вдребезги платформ... Иные орудия беспомощно лежали, иные были даже вколочены в землю... Могло найтись не больше половины орудий, вполне боеспособных.

Густой дым, висевший здесь при полном безветрии, не давал возможности видеть что-нибудь дальше пяти-шести шагов, но зато он же не позволял и французским стрелкам, а тем более артиллеристам, разглядеть даже и сквозь бреши в мерлонах и через обрушенные амбразуры шествие русского главнокомандующего с его внушительной свитой.

Витя Зарубин, продолжавший по-прежнему вместе с подпоручиком Сикорским оставаться ординарцем Хрулева, в этот день, начиная с раннего утра, был в состоянии оторопи, для чего предыдущий день дал вполне достаточно причин.

Одной из этих причин был не кто иной, как Хрулев, который поразил его припадком совершенно неожиданного исступления, почти буйства, вечером, после проигранного Горчаковым сражения на Черной.

Хрулев для Вити был не только высший его начальник, от воли которого каждый день и даже каждый час зависела его жизнь, так как он мог послать его куда угодно, хоть в самую пасть ада, и нужно было опрометью мчаться, несмотря ни на что, ни на волос не принадлежа самому себе.

Приказал же он ему двадцать шестого мая стать во главе двухсот — трехсот солдат и во что бы то ни стало отстоять Камчатку под натиском целой бригады французов! Камчатки он тогда не отстоял,

правда, и даже чудом считал после, что остался тогда цел и невредим, однако он испытал, хотя и в течение всего нескольких минут, ни с чем не сравнимое сознание, что вот он — командир отдельного отряда в бою, имеющем историческое значение, во всяком случае очень важном для участи Севастополя.

Эти несколько минут подняли его в собственных глазах сразу и на большую высоту: он возмужал в эти несколько минут; последнее детское, что еще таилось в нем, переплавилось вдруг, исчезло.

И четвертого августа, когда все на Корабельной были готовы к наступлению и рвались вперед, чтобы взять потерянную в мае Камчатку, он, Витя, испытывал тот же захватывающий подъем, находясь вблизи Хрулева, в которого слепо верил, который каждый день внушал ему восхищение своим полным бесстрашием, своим боевым задором...

Главное, этот бывший из Хрулева ключом задор, далеко переплескивающий через его солидный чин генерал-лейтенанта, через его ответственный пост командира всей левой стороны севастопольских укреплений.

Витю посылал он тогда к Остен-Сакену с донесением, что французы очистили траншеи перед Малаховым, отправившись на помощь дивизиям, атакованным на Федюхиных горах, и что удобнее этого момента для русской атаки со стороны Корабельной быть не может.

Однако там, в библиотеке, на вышке, где передавал донесение Хрулева Витя, у Сакена стало озадаченное, а у начальника штаба, князя Васильчикова, явно досадливое лицо, когда они ознакомились с донесением.

Васильчиков, хотя и вполголоса и по-французски, не преминул сказать Сакену:

— Этот генерал Хрулев, чего доброго, начнет, пожалуй, наступление и на свой страх и риск, и тогда последствия могут быть чрезвычайно печальны, ваше сиятельство!

А Сакен, высоко подбросив брови, отчего круглые глаза его сделались вдвое шире и выпуклей, отозвался на это живо:

— Нет-нет, как же это можно, что вы!.. Напишите ему, чтобы непременно дожидался приказа главного командующего!

Так было упущено время для атаки французских траншей, которая несомненно принесла бы большую удачу, — прочную или непрочную, — как знать? Во всяком случае эта атака могла предотвратить полное поражение у Черной речки: сражение там могло бы остаться тем, что называется нерешительным, почему и потери были бы не столь велики.

Вот этого-то казенного начальнического равнодушия к моменту первейшей важности, который был им указан, этого окрика по своему адресу, тихого только в силу приличий, Хрулев и не сумел перенести хладнокровно.

Он разбушевался вечером в тот день в своей комнате в казармах Павловского форта. Это была обширная комната, но тем яснее выступала крайняя простота ее меблировки: кроме железной койки, большого круглого стола и нескольких стульев да карты севастопольских укреплений, пришпиленной на одной из голых стен, в ней совершенно ничего не было. Видно было, что хозяин ее, перейдя сюда из дома на Корабельной, не рассчитывал прожить тут долго.

У Хрулева сидел в этот вечер бригадный генерал Сабашинский, бывший командир Селенгинского полка. Рядом с Сабашинским утвержден был между стульями его костыль: в Дунайскую кампанию храбрый командир селенгинцев был ранен турецкой пулей в ногу, и эта рана теперь почему-то напоминала о себе; впрочем, Сабашинский на костыле двигался бойко.

Командовал он гарнизоном второго бастиона и куртины, соединяющей этот бастион с Корниловским; к Хрулеву же приехал отчасти по делам, а больше потому, что на другой день после боя на Черной ни тот, ни другой никаких действий со стороны противника не ожидал: непосредственно после напряженных усилий полагается вполне законный отдых.

Сабашинский сидел, но Хрулев долго не мог усесться.

Он был вне себя, как охотник, которому помешали подстрелить выслеженную крупную дичь. То по-настоящему большое дело, к какому подготавливал он себя долгие годы, ввязываясь без отказа в какие случалось мелкие дела, оно возникло перед ним именно вот теперь, в этот день, и все существо его настроилось к тому, чтобы

броситься туда, к Камчатке, и отшвырнуть французов как можно дальше от почти обнаженного сердца Севастополя, Малахова кургана, и вот — сорвалось!.. По чьей вине?

Витя, бывший вместе с Сикорским и еще одним новым ординарцем, подпоручиком Эвертсом, в соседней комнате, слышал, — и не мог не слышать, — как кричал Хрулев:

— Эта слепая кобыла, голенище старое это, какой же он к чертовой матери главнокомандующий, скажите на милость? Дурацкий затрепанный анекдот, а не главнокомандующий! Ведь мы его знаем отлично и по Дунаю, что же он поумнел вдруг ни с того ни с сего, что его назначили в Севастополь?.. Если там с одними турками ничего он не мог сделать, то тут ему да-ле-ко не турки-с, тут ему Ев-ропа, а не Азия!.. Нажал на их правый фланг как бы там ни было, оттянул туда силы с фронта, так отче-го же ты, балда тупорылая, не даешь приказания ударить им в лоб, чтоб у них в башке зазвенело?.. Что же мы с вами не видим разве, что французы понаставили на нашей Камчатке? Видим! Каждый день любуемся этим!.. Явная смерть наша обосновалась на Камчатке, вот что-с! А мы бы ее вполне могли сегодня за горло, в печенку ее корень, — вот как мы могли бы сделать! А потом Боске уложил бы под Камчаткой весь свой корпус, чтобы ее отбить, и черта бы с два отбил!

Сабашинский, человек большого роста, лет сорока восьми, но казавшийся гораздо моложе, с упрямо стоящими щеткой рыжеватыми волосами, нигде не тронутыми сединой и подстриженными полковым цирюльником так, что голова казалась квадратной, подливал масла в огонь, вставляя в поток хрулевских сетований на Горчакова:

— Что Камчатку вполне могли бы отобрать — это верно!

— И черта бы с два у нас отбил бы ее Боске! — продолжал, воспламеняясь, Хрулев. — Во всяком случае мы могли бы продержаться на ней до ноября, а там заговорили бы дипломаты, да не так бы заговорили, как они вздумали говорить в марте, в апреле, а помягче, полегче! А почему Сакен (он заметно удвоил тут «с»), распротопоп этот мерзкий, не дал распоряжения начать атаку? Он начальник гарнизона или кто он такой? Почему же он акафисты какие-то читал в библиотеке, а?.. Мой ординарец, мичман, докладывал мне:

«Сидит, говорит, и бормочет себе на восьмой глас: «Радуйся, неискусомужняя дева, радуйся, богоневеста, владычице!..»

Витя, когда услышал это, поневоле прыснул от смеха и, обращаясь к Сикорскому, проговорил удивленно:

— Ей-богу, ничего такого я не говорил! Сочиняют!

А Хрулев между тем гремел в соседней комнате, отделявшейся от комнаты ординарцев только дверью:

— Скажите, что же это такое, если огромное государство, великое государство, Россия, посылает сюда какую-то заваль, интендантских крыс каких-то и им предписывает: «Защищай отечество!» Чтобы Горчаковы и Сакены, чтобы они защищали? Та-ки-е защитят, держи карман!.. Я предсказывал Горчакову, что это наступление, какое он готовил, обойдется нам в десять тысяч человек и без толку, без толку — совершенно зря! Что же он? Он, князь, изволите видеть, промышчал мне: «Положите перста на уста!» Перста на уста? А теперь что ты скажешь, старая каланча? Нет-с, перста на уста я класть не намерен-с!.. Я напишу государю докладную всеподданнейшую записку, что с этими двумя интендантскими крысами мы, может быть, солдат и прокормим, но что Крым потеряем, это уж как пить дать! А Севастополю уж теперь ясный конец через две-три недели! Полнейший конец!

Витя привык верить в Хрулева, верить в то, что Хрулев больше, чем кто-либо другой, знает, а если не знает, то чувствует, простоит или нет Севастополь, выручат его или не захотят выручить. Что не смогут выручить, если даже и захотят, это он отметал решительно с тем пылом, какой свойствен первой молодости вообще. Могут не захотеть — это другое дело. Могут сказать почему-нибудь: «На другое нужны полки и орудия, а Севастополь что же такое, если в бухтах мало уже осталось судов? Севастополь без флота почти то же, что Николаев или даже любой какой-нибудь Херсон. А неприятель, у которого флот цел и велик, может когда угодно напасть и на Николаев, и на Херсон, и на Одессу, как напал он на Керчь...» Это, хотя и довольно трудно, но все-таки можно было понять. И теперь, слушая Хрулева, Витя в первый раз вполне ощутимо представил, что Севастополь выручать не хотят и не будут, почему и простоит он уже недолго... «Конец через

две-три недели!»

Определенность и точность хрулевских слов поразила Витю, и он стремился потом вслушиваться как можно чутче во все, что говорил Хрулев, но тот больше отводил душу насчет Горчакова и Сакена, Васильчикова и Коцебу, а когда начал неумеренно пить коньяк, еще размашистей стал выражаться, еще выше поднял свой и без того звонкий голос, но, при всей живописности своих излияний Сабашинскому, начал уже повторяться, а те фразы, какие иногда вставлял Сабашинский, не расширяли темы разговора, не углубляли его...

Страшная канонада, начавшаяся рано утром, ошеломила не ожидавшего ее Хрулева, заставила Витю поверить окончательно в те «две-три недели», какие он отпустил Севастополю, а вечером, когда затихал уже прицельный огонь, Витя послан был Хрулевым в город с донесением о тревожных результатах бомбардировки на втором бастионе и на Малаховом.

Возвращаясь, он сделал небольшой крюк, чтобы проведать материнский дом на Малой Офицерской, и, добравшись кое-как до того места, где был дом, нашел только кучу какого-то странного и страшного мусора.

Не особенно большой показалась Вите эта куча, прильнувшая к почему-то уцелевшей печи, причем Витя сразу не мог сообразить, какая это из трех печей, бывших в доме, если считать и русскую печь на кухне. Разбитая в мелкие кусочки черепица густо покрывала, точно лоскутное одеяло, всю эту кучу мусора и валялась довольно далеко от дома. Из общей кучи торчали в разные стороны балки, кроквы, доски — дерево, которое завтра-послезавтра будет отправлено на бастионы для починки платформ.

— Ну вот... значит, конечно, — шепотом сказал Витя. — Хорошо, что выбрались вовремя.

Он несколько минут удерживал нетерпеливо мотавшую головой лошадь около развалин того, с чем он сжился с детства и с чем не мог расстаться совсем даже за долгие месяцы службы на линии укреплений. Он старался определить, какой снаряд, взорвавшись, разметал их дом. Решил, что не иначе, как семипудовый, и отъехал,

наконец, с непривычно стесненным сердцем.

Пока цел был их дом, все как-то не верилось в близкий конец Севастополя, хотя многие говорили уже об этом около Вити. Но Витя думал все-таки, что если и говорят так, то больше потому, что все устали. Лейтенант Лесли, командир батареи на Малаховом, как-то даже признавался ему, что готов идти в Сибирь, на каторгу, чтобы хоть отдохнуть от этого вечного грома выстрелов своих и чужих, хотя он, обер-офицер, и получил уже анну на шею, которую принято давать только штаб-офицерам.

Все устали кругом Вити, устал и он, и на второй день этой новой бомбардировки он уже готов был спорить и с самим Хрулевым, убеждать его, что двух-трех недель Севастополь выстоять не может: дай бог хотя бы два-три дня.

И это новое для него, всегда старавшегося держаться как можно уверенней, состояние оторопи не прошло, даже не уменьшилось, несмотря на то, что затихла в обед канонада. Но вот вдруг казак из конвоя Горчакова доложил Хрулеву, что у горжи — главнокомандующий, и Хрулев заторопился встречать того, кого так ругал всего только день назад.

«Судьбу Севастополя» да еще с такой огромной свитой видел на Малаховом Витя в первый раз за все время своей службы при этой «судьбе».

Смутными тенями в неосевшем дыму шли, очень внимательно глядя себе под ноги, что было необходимо, конечно, и сам Горчаков, длинный, с журавлиными ногами, в очках, в странной фуражке, сплюснутой спереди, вздутой сзади с сверхъестественным козырьком, и старавшийся держаться с ним рядом мальчишески маленький Коцебу, и Хрулев, и еще несколько штабных генералов, фамилий которых точно не знал Витя, полковников и капитанов генерального штаба, наконец, несколько адъютантов и ординарцев, — а всего человек семнадцать.

Когда подходил Горчаков, Витя приготовился уже к тому, что он, может быть, поздоровается с ним, как с офицером, мичманом славного Черноморского флота; он вытянулся во фронт, и рука его прилипла к фуражке.

С его языка готово уж было сорваться: «Здравьжлай, ваше сьятьс...», но Горчаков, дотянув до своего козырька два пальца, шепеляво бросил ему на ходу:

— Спасибо за службу именем царя-батюшки!

— Рад стараться, ваше сиятельство! — не сразу, но с чувством отозвался Витя.

Горчаков и свита его, то и дело оступаясь, с большим трудом лавируя между воронками, ядрами, мешками с землей, далеко отброшенными с траверсов, кусками фашин и прочим, продвигались вперед, минуя застывшего на месте, но почему-то радостного Витю. Когда же миновал его последний, какой-то поручик, видимо ординарец, Витя вспомнил, что он тоже ординарец того самого генерала Хрулева, который идет впереди, с Горчаковым, как хозяин всех укреплений Корабельной стороны, — вспомнил и пошел в хвосте свиты, вслед за поручиком.

И он видел, что главнокомандующий решил в этот день обрадовать не одного только его своим вниманием, а всех вообще, кого встречал на бастионе, был ли то офицер или солдат, командир батареи или простой прокопченный дымом матрос.

Он всем говорил однообразно и шепеляво:

— Спасибо за службу именем царя-батюшки!

И всякий выкрикивал в ответ:

— Рад стараться, ваше сиятельство!

Так же точно выкрикнул в свой черед и пластун Чумаченко.

— А-а, охотник, казак, два знака военного ордена, — подслеповато приглядевшись к нему, сказал Горчаков. — Давно был в секрете?

— Этой ночью был, ваше сиятельство, — браво ответил Чумаченко, любимец Вити.

— Этой ночью? Ага... Что же, далеко ли теперь траншеи французские?

— полюбопытствовал Горчаков.

— Так считать надоть — сто пять шагов моих будет, ваше сиятельство,

— не задумавшись ни на секунду, определил пластун.

Горчаков поглядел вопросительно на Хрулева.

— Сто пять шагов? Это сколько же может выйти сажень? Тридцать пять? А?

— Солдатский шаг — аршин, ваше сиятельство, — почтительно напомнил ему Хрулев. — Тридцать пять сажен, да, такое я получил донесение, так мы считаем и по глазомеру, не больше того.

— Вот как! Вы слышите? — обратился Горчаков к Коцебу. — Стало быть, они продвинулись под прикрытием бомбардировки еще на целых пятнадцать сажен!

Казалось бы, Чумаченко должен был молчать, как камень, когда заговорили между собою главнокомандующий с начальником штаба армии. Но он, волонтер, плохо знал дисциплину; он счел нужным вставить в этот разговор и свое слово:

— Торопятся, ваше сиятельство, из одного котла с нами кашу исты!

И, совершенно неожиданно для Вити, эта вставка — голос народа, солдат — очень понравилась Горчакову.

— Торопятся, да, верно, братец, — согласился он с пластуном. — А только вот будут ли, будут ли они есть нашу кашу, — вопрос!

Но на этот вопрос проворно и решительно ответил пластун:

— Ни в жисть, ваше сиятельство, не дадим! Подавятся они нашей кашей!

И бравый ответ этот осчастливил князя; и с полминуты стояли они друг против друга — главнокомандующий с золотым оружием за храбрость и пластун — унтер с двумя Георгиями, — вполне осчастливленные друг другом.

— Как твоя фамилия? — спросил Горчаков.

— Чумаченко, ваше сиятельство!

— Молодчина, братец Чумаченко! Спасибо тебе!

— Рад стараться, ваше сиятельство!

Витя был тоже рад за своего любимца-пластуна, но поглядывал встревоженно и в сторону французских батарей, — не явилась бы оттуда семипудовая и не накрыла бы всех около него, чтобы сразу положить конец всем счастливым и радостным.

Однако обошлось без потерь в свите князя. Даже певучие штуцерные никого не задели, что было уже подлинным счастьем.

Потом Горчаков сидел уже в безопасном месте, в той самой комнате в Павловских казармах, где так недавно разносил его на все корки Хрулев. Чтобы усадить всю свиту князя, пришлось взять стулья из

комнаты ординарцев.

Тут Горчаков подписал наскоро написанную полковником Меньковым, его адъютантом, благодарность всем защитникам бастионов и батарей, а также приказ о выдаче по восьми георгиевских крестов на каждое из пяти отделений линий обороны.

Гости Хрулева еще сидели у него за бутылками портера и эля, когда прискакал сюда генерал Сабашинский. Опираясь на свой костыль, но держась все-таки безукоризненно навытяжку, он просил у Горчакова разрешить ему часа на два отлучиться со второго бастиона для свидания с сыном подпоручиком, тяжело раненным в бою на Черной речке, о чем он только что узнал, так как раненый находился во временном госпитале на Северной.

Горчаков соболезнующе обнял Сабашинского и не только разрешил ему отлучку, но еще и снял с себя золотое оружие за храбрость и сказал растроганно:

— Вот передайте это вашему сыну как награду... А в приказе по армии он прочтает об этом в свое время.

Принимая саблю и благодаря князя, прослезился Сабашинский.

А канонада между тем гремела с тою же страшной силой, как и до полудня, и сюда, в Павловские казармы, на здешний перевязочный пункт, несли и несли раненых.

Она продолжала греметь так и еще два дня — седьмого и восьмого августа, и по ночам ни на Малаховом, ни на втором бастионе не успевали исправлять разрушения.

Зато и батареи англичан на Зеленой горе неоднократно приводились к полному молчанию, и третий бастион, которым командовал теперь капитан первого ранга Перелешин 1-й, торжествовал победу, особенно в третий день бомбардировки, когда он имел возможность, покончив с англичанами, направить свой огонь в помощь Малахову против французов.

На четвертый день — восьмого августа — с утра была открыта французами сильнейшая пальба и по бастионам Городской стороны, особенно по четвертому, так что канонада стала общей.

Она как бы предвещала и общий штурм города, но убедила генералов союзных армий только в том, что защита еще сильна и штурм едва ли

будет иметь успех.

Кроме английских, на Зеленой горе сильно пострадали и французские батареи против четвертого бастиона, а из строя за четыре дня выбыло у интервентов до тысячи человек артиллерийской прислуги.

Союзники не знали тогда, конечно, общего числа русских потерь, но если бы узнали, могли бы утешиться тем, что они были больше, так как сильно страдали, особенно от навесного огня по ночам, рабочие из пехотных прикритий.

За четыре дня осадные орудия интервентов выпустили около шестидесяти тысяч снарядов, русские — около тридцати тысяч.

Глава четвертая. Третья сторона Севастополя

I

Очень легкий на подъем, хотя и добротного дюжего склада, всегда навеселе, однако же никогда не пивший допьяна, чистотлицый, окладистобородый, русые волосы в кружок, в коричневой жилетке поверх кумачовой рубахи и в брюках «навыпуск», выбранный базарным старшиной держатель ресторации на Северной стороне, Александр Иванович Серебряков, перекочевавший сюда с Екатерининской улицы, любил говорить о себе офицерам:

— Как у вас главнокомандующий считается Горчаков, его сиятельство, так и я на этом базаре главнокомандующий тоже, хотя, конечно, до сиятельства мне еще очень далеко.

— А все-таки, примерно, как именно далеко? — любопытствовали офицеры, угощаясь бараньими котлетами или паюсной икрой в его обширной палатке.

Но Серебрякова сбить с толку такими, хотя и несколько каверзными, вопросами было нельзя. Он прищуривался насмешливо и спрашивал сам:

— А про князя Демидова, какой на Урале заводы свои имеет, слыхали-с? Теперича, выходит, он — князь, а кто же его прадедушка был?

И, выждав необходимую паузу, сам же отвечал на свой вопрос коротко, но с ударением:

— Кузнец наш тульский был его прадедушка!

Александр Иванович метил, конечно, очень высоко, вспоминая о Демидове, князе Сан-Донато, однако все убеждало его каждый день, что раз он уже дошел до звания старшины базара на Северной, то это значит, что будущность его светла и для очень многих завидна.

Хотя он был только ресторатором, но к нему обращались обыкновенно все штабные с самыми разнообразными поручениями чисто интендантского порядка, и все подобные поручения он выполнял аккуратно и быстро, как самый опытный и влиятельный маркитант.

— Так что именно прикажете спроворить, ваше благородие? — спрашивал он, если обращавшийся к нему был обер-офицер. — Быков требуется? Так, быков... А сколько именно голов? Пятнадцать — шешнадцать, говорите?.. Гм... А сколько же все-таки, если в точности мне знать? Лучше шешнадцать, чем пятнадцать? Ну вот, стало быть, вы в мою точку как раз и попали-с! Так и мне будет гораздо превосходней, — как есть теперича у меня на примете ровно шешнадцать голов, а если бы пятнадцать требовалось, вот, значит, шешнадцатый и скучать бы стал без товарищей, почему тех в резню погнали, а об нем забыли... Ну, конечно, долго бы скучать ему не пришлось, а все-таки скотину жалеть требуется... Когда пригнать прикажете? Или можно лучше готовыми тушами привезть? Вполне могу доставить тушами, ради чего уж я теперь семь своих подвод завел, кроме что дрожки для надобностей, а также и коляску про всякий случай имею...

Если он мог доставить быков для зареза, то нечего и говорить о вине: он закупил целый винный подвал в одном из имений и оттуда привозил вино бочками, сам занимаясь розливом его в бутылки и придумыванием для него давности.

Лимоны и прочие «колониальные» товары добывал он из Одессы через Херсон, где жило его семейство, и иногда, желая показать себя перед офицерами человеком исключительной любви к отечеству, он говорил им с дрожью в голосе:

— Же-на от тоски по мне в Херсоне сохнет, можете вы это понять? А сколько же этой жене моей годочков? Восем-надцать только всего, восемнадцать, а? Ведь ей тоска там без меня, а что же поделаешь? И я

бы рад к ней, я, может, по ней тоже мучаюсь, ночей не сплю, да разве же я могу для нее хотя бы неделю какую урвать? Никак этого невозможно. То-се требуется теперича, а кто доставит? К кому господам военным обращаться тогда, если я отойду от дела на целую неделю?..

И он не отходил даже и на день.

У него было несколько человек подручных, были даже и компаньоны в деле, сложные счета с которыми он решал быстро и, видимо, безобидно, так как они держались за него крепко.

Как старшина базара, он находил время заботиться и о том, чтобы из деревень подвозилась всякая мелкая живность, яйца, масло, сало, яблоки, груши, виноград и при этом вступал нередко в перебранку с полицейскими, которые по своей исконной привычке требовали с каждой подводы, даже с каждой корзинки фруктов, принесенной татаринном издалека на своих плечах, взятки, иначе не позволяли им продавать.

— Господин частный пристав! — обращался он в таких случаях к полицейскому чиновнику во всеуслышание и с сознанием важности своего звания. — Да вы если уж желаете беспрременно хабара взять, то с меня уже лучше за них за всех возьмите, а то ведь вы знаете, до чего можете довести? До того вы можете довести, что ничего у нас тут не будет — ни курей, ни яиц, ни цыплятишек! Разве так можно, господин пристав? Совесть надо иметь! Всякий человек кушать хочет, не вы один! А тут, на Северной, теперь весь Севастополь живет, всяк об себе старается насчет стола...

Частного пристава, конечно, нельзя было смутить призывами к законности и к общественной пользе, но, прикинув в уме, что он мог бы получить с тех, с кого не получил благодаря вмешательству Серебрякова, он шел к нему дополучать, а кстати и подкрепиться чем бог послал.

Базар на Северной был прежде разбит ближе к рейду, но когда стали часто залетать сюда ракеты и снаряды с батареи «Мария», базар передвинули дальше, благо передвинуть его было легко: деревянные балаганы и палатки так же быстро снимались, как и ставились, а торговки, образовавшие на базаре особую «бабью линию», не

нуждались даже и в подводах, чтобы перенести свои корзины и скамейки на новое место: благодаря жаркой погоде они и спали около своего товара, прикорнув одна к другой, чтобы сразу поднять на ноги всех в случае какой ночной беды с кем-либо из них.

Базар теперь, в августе, раскинулся уже довольно широко, — на четыре длинных улицы, и быть старшиной этого крикливого шумного торжища, всегда переполненного народом, то есть устанавливать здесь порядок и держать за этот порядок ответ, была, конечно, очень трудная задача.

Но Серебряков каким-то образом успевал всюду: и следить за порядком на базаре, и выполнять всевозможные поручения штабных офицеров, связанные очень часто с поездками, и, наконец, вести дело своей ресторации.

В ней он отгородил для себя досками с натянутым на них холстом угол, в котором помещался также и буфет, полный бутылок, закусок, посуды; из этого угла, казалось бы беспечно и между прочим, следил за всем, что требовали посетители, и всему вел свой счет в уме, так что если потом и щелкал костяшками счетов, то исключительно для проформы:

— Икра — рубль сорок, две рюмки водки по двадцать, сигары — семьдесят пять копеек, итого два рубля пятьдесят пять...

Иногда, когда хотел повеличаться перед новыми для него людьми, он говорил с беззаботным видом:

— Я ведь тоже в уездное училище учиться своим папашей определен был, хотел папаша из меня чиновника сделать... Но вот теперича вы, как люди умные, рассудите сами — у кого больше смысла было в голове: у папаши ли моего, или же у меня, у мальчишки? Ну, что толку было бы, если бы я и в самделе чиновником вышел? С тоски помер бы!.. А я мальчишка был нравный, дерзкий, шалун также я был большой, пришлось папаше меня взять, пустить по торговой части. И как раз это, скажу я вам, по мне занятие!.. В чиновниках я бы давно уж еморой себе схватил и счах, а то вот сорок восемь годов мне считается, а я еще — в полной своей силе!

Время от времени, особенно когда под него подкапывались его конкуренты, нашептывая на него начальству, он стремился проявить

свою тароватость и жертвовал «в пользу раненых воинов» то ящик лимонов, то несколько бочонков вина, то разную бакалею. Конечно, задней мыслью его при этом было, чтобы и лимоны, и вино, и прочее попало совсем не к раненым, а разошлось бы по рукам того самого начальства, которое могло бы его прижать и припечь, радея о его врагах.

Достигнув такой высоты, как звание старшины базара, много выказывал он изворотливости, чтобы на этой высоте удержаться, так как ловких, пройдошистых людей съехалось в новый Севастополь довольно из Екатеринослава, Харькова, даже из Москвы. Они ставили балаганы для торговли, не стесняясь платить по тысяче рублей серебром за балаган, в надежде заработать в короткий срок десятки тысяч. И Серебряков стремился играть на том, что он общий благодетель всех военных и что поэтому всем известен с наилучшей стороны.

Он любил говорить всякому, даже и в малых чинах, никем не брезгуя: — Нуждаетесь в чем-нибудь, помните твердо в своей памяти: есть на Северной Серебряков Александр Иванович, обратитесь к нему, и хотя он не бог, а сделать все для вас сделает!

II

Капитан 2-го ранга в отставке, пострадавший во время знаменитого Синопского боя, сидя за столиком в ресторации Серебрякова вместе с женой и дочкой Олей, жаловался ему сообщительно, по-простецки, что вот очутился он под открытым небом, некуда приклонить голову, между тем как сын — ординарец самого Хрулева, мичман, а зять — саперный поручик — строит мост через рейд.

— Мост строит, а? Через рейд, голубчик мой!.. Ведь это... ведь это что? Ведь европейского, европейского... как бы это сказать... европейского значения дело!.. А вот шалаш бы какой-нибудь нам, шалаш, ну, просто курятник какой... чтобы от жары куда, а также, скажем, дождь если... чтобы пристанище, пристанище свое какое-нибудь, — этого нету... человек же наш, Арсентий, о-он... он смотрит кругом, где бы досок... досок где бы выломать, а ведь их нет! Домов разбитых нет... стало быть, и досок нет... Кроме того, инструментов

тоже... Где их взять? А без струменту, говорит он, без струменту и вошь не убьешь!

— Не убьешь, истинно! — немедленно согласился Серебряков, мотая на ус, что сын этого калеки — ординарец самого Хрулева.

Потом с его стороны последовали советы, что им, всему семейству, лучше бы всего отправиться не в Симферополь даже, «потому что там тоже голову приклонить негде будет, очень завозно», — а в тихий город Херсон, где у него живет и тоскует по нем жена восемнадцати от роду лет.

Однако на это возразила уже сама Капитолина Петровна, что отбиваться так далеко от сына и дочери старшей она не хочет, что теперь пока лето, а осенью тогда уж видно будет, что надо делать.

Даже и белоголовая Оля не согласна была с тем, что им лучше ехать в какой-то Херсон, бросив свой Севастополь. Она дотянулась губами до большого и плоского уха матери и прошептала:

— Мама, неужели Арсентий не может сделать вигвам, как у краснокожих индейцев?

Северная — третья сторона Севастополя — успела уже поразить воображение Оли и накануне, когда они перебрались сюда надолго, и ночью, проведенной под покровом звездного неба, и, наконец, в этот день утром, когда она попристальней огляделась кругом.

Здесь около нее был тот самый густой будничный и вполне понятный людской шум, раскидывалось то самое занятное сплетение разнообразнейших житейских интересов, кипела та самая непроходимая толчея купли-продажи, которые были так знакомы ей по мирному детству, казавшемуся теперь очень далеким и очень давним после нескольких месяцев, проведенных под пушечным огнем на Южной стороне.

Солдат, матросов и этих новых севастопольских воинов древнего обличья, бородатых, с медными крестами на фуражках, тут было так же много, как и там, но зато здесь везде на базаре женщины с ребятишками, исчезнувшие в последнее время с улиц Южной стороны. Загорелые, в черных смушковых шапках, татары носили здесь виноград, груши, яблоки, сливы в длинных, узких корзинках через плечо наперевес. На пронзительно скрипучих арбах везли сюда

морковь, петрушку, лук — всякую огородину... Оранжевые дыни кучами лежали на земле около торговцев и как пахли! А рядом с ними зеленые, полосатые, белесые кучи арбузов, около которых толпился веселый оживленный народ в рубахах с синими и красными погонами. По арбузам солдаты то щелкали пальцами, стараясь по звуку определить спелый или нет еще, то вдруг принимались давить их изо всех сил, поднося к уху, трещат или не трещат, а торговцы, замечая это, кричали то и дело в отчаянье:

— Эй, служба! Вот народ! Не дави, сделай милость! Арбуз этого не любит, — гнить в середине начнет!.. Давай я лучше на вырез дам!

Кроткие, облезло-бурые буйволы татарских арб и рыжие громоздкие верблюды очень радовали Олю: давно уже не видала она их там, на Южной.

Здесь услышала она, что ополченцев за их бороды и длинные волосы, свисавшие на красные шеи из-под фуражек, солдаты зовут «лохматками», то есть так же точно, как звали они, по словам Вити, неприятельские бомбы в два с половиной пуда весом, те самые бомбы, которые, пролетая по небу ночью, окружены бывают роем искр из своих трубок. Но как бы ни было смешно такое название ополченцев, все-таки они очень нравились Оле своим важным видом, неторопливостью движений, так что даже матери она говорила о них таинственно:

— Вот это войско так войско! Правда, мама?

И даже когда мать не поделила ее восхищения, все-таки Оля осталась при своем: древние воины, о которых она читала в детских книжках, не иначе представлялись ей, как сказочными богатырями, — потому она так верила в ополченцев.

С Северной стороны отлично было видно всю Южную и Корабельную, и Оля не могла не заметить здесь и там больших опустошений. Где несколько домов подряд лежали только пестрыми развалинами; где такие же развалины чернели, и Оля догадывалась, что здесь был пожар, вызванный бомбардировкой... Кресты на церквах редко уж где виднелись...

Пушки рокотали гулко, и белые дымы клубились на бастионах, как букеты белых цветов, пока не расходились, не нависали

полотнищем... Неприятельские батареи на горах слева и справа, такие загадочные для Оли, когда жила она на Малой Офицерской, отсюда видны были вполне ясно по тем дымным столбам, которые, постоянно взвиваясь, над ними стояли...

Малую Офицерскую улицу, точнее то место, где можно бы было разглядеть кое-какие остатки ее домов, показала Оле мать, и Оля нет-нет да и поглядит туда в надежде различить крышу — черепичную, красновато-желтую крышу своего дома. Но это трудно было, и Оля повторяла тоскующе:

— Эх, досада! Если бы хороший бинокль у кого достать!

Однако кругом очень густо была замешана такая разнообразная, такая новая жизнь, что, очень легко вспоминая, тут же и забывала Оля о своем доме.

И в ресторацию Серебрякова пришла с отцом и матерью Оля до такой степени переполненная всем этим закружившимся около нее голосистым и многокрасочным, что как будто не могло и остаться в ней места для каких-нибудь еще впечатлений. Тем не менее она жадно вбирала и этого яркого ресторатора с рыжей бородой, в коричневом жилете поверх красной рубахи, с раскинутой от кармана до кармана жилета серебряной цепочкой часов; и двух его половых, в фартуках, которые, как определяла Оля, непременно были когда-нибудь раньше белого цвета.

Половые эти, тоже с бородами, только клинышком, то и дело встряхивали длинными волосами, как коняшки гривами, и старались двигаться между дюжиной столиков с завидной быстротой и непостижимой ловкостью, то подавая что-нибудь офицерам, то убирая тарелки и бутылки.

Два сюртука, длинных, черного сукна, разглядела Оля, висели на гвоздиках на буфете — один поновее, другой постарее: тот, что поновее, надевал Серебряков, когда приходилось ходить по начальству, а другой служил ему для представительства на базаре, где нужно было иметь, конечно, вид внушительный, какой подобает старшине базара, но в то же время легко было в тесноте и запачкаться чем-нибудь около возов.

Оля видела, что отец ее внимательно вглядывается в лица офицеров,

сидевших за столиками, но среди них не было моряков, — они все были пехотных полков и, конечно, совершенно незнакомы и отцу так же, как и ей.

Но пусть даже и незнакомые, они все-таки нравились ей уже тем, что вот сидят себе за столиками, едят и пьют, и говорят громко и весело, и часто хохочут, как будто совсем нет никакой войны тут же вот рядом, на Южной и Корабельной.

Серебрякову вздумалось почему-то погладить ее по голове, причем вся не покрытая ничем голова ее вошла в его руку, как в шляпу, такая у него оказалась широкая ладонь с большими толстыми пальцами. При этом сказал он, обращаясь к отцу:

— Уберегли все-таки дочку-то, бог помог... А вот как в Херсон поедете, там уж и вовсе в безопасности: город тихий.

Но Оле совсем не хотелось в Херсон, — ей очень нравилось здесь, на Северной. Она только искала в памяти, на что все это кругом нее тут похоже, и, наконец, нашла: на ярмарку. Именно с одной ярмаркой связано было у ней одно из ярчайших впечатлений, полученных ею от жизни, по-настоящему праздничных.

Не хватало тут кое-чего, конечно, но очень немногого: карусели, балагана с петрушкой, глиняных свистулек...

И она была рада, когда даже мать, не только отец, решили с Херсоном повременить и заговорили с Серебряковым снова насчет материалов и инструментов, нужных Арсентию для постройки вигвама.

И она, высвободив голову из тяжелой и жаркой руки базарного старшины, принялась смотреть на него с молчаливой, но твердой надеждой, стараясь как бы внушить ему, что вигвам, разумеется, необходим, — как же им обойтись без него в таком море народа? Она умоляюще глядела прямо в глаза этого бородача, и ей было радостно услышать от него рассудительное:

— В таком случае надо вам как-нибудь помочь... Хотя я не бог, а кое-что все-таки могу для вас сделать... Ящики у меня валяются от товару, а при них, конечно, и гвозди все в целости... А гвоздь, он — великое дело теперича, только к нему требуется молоток и обценки — клещи то есть, я уж по-здешнему привык говорить... Ну, конечно, кольев еще надо штук шесть, до чего доски прибивать и для державы... А только,

сказать я должен, ваше высокоблагородие, что маловато будет материалу... Маловато, а больше не наскребу, — неоткуда взять... Может, наймете кого земляночку выкопать?

— Да ведь Арсентий же, а как же, — обрадованно отозвался отец, — он же именно и хотел землянку... землянку хотел, а только вот покрыть ее чтоб... и кирку-лопату, кирку-лопату, вот... Все возвращу в целости, будьте покойны, и с благодарностью!

Мать тоже подтвердила насчет благодарности, и вот несколько ящиков с кольями, киркой и лопатой погружено было на дроги, и все трое — и Оля тоже — брались раза два за широкую и такую щедрую руку Серебрякова, потом, наконец, пошли они с матерью, усадив на дроги отца, к облюбованному для устройства вигвама месту, где сидел и сторожил их узлы и корзины Арсентий и где нежилась окруженная резвыми котятками кошка.

К вечеру вигвам — наполовину в земле, наполовину снаружи — был готов, и Арсентий, довольный своей работой, как художник, любовался им молча, оглядывая его со всех сторон и кое-где еще постукивая молотком по доскам крыши.

Вместо двери повешена была простыня, но Арсентий решил не сегодня-завтра снять дверь чулана в брошенном доме на Малой Офицерской и притащить ее с петлями и задвижкой сюда. Кстати захватить оттуда и кое-что еще, забытое там, но необходимое здесь для хозяйства.

III

Он и пошел за дверью на другой же день, а Капитолина Петровна, взяв с собою Олю и оставив в землянке мужа, отправилась разыскивать госпиталь, в котором работала Варя вместе с Елизаветой Михайловной Хлапониной.

Этого госпиталя она еще не видала, а надо же было сказать старшей дочери, куда именно они переселились, чтобы не было с ее стороны напрасных поисков и волнений от разных мыслей о их судьбе.

Капитолина Петровна знала, со слов Вари, что нужно было идти по дороге к Бельбеку и смотреть вправо от дороги. Поэтому она зорко

смотрела вправо, думая увидеть длинное одноэтажное здание или даже несколько длинных зданий, выстроившихся шеренгой наподобие того, как это было внутри укрепления № 4 здесь же, на Северной, на берегу рейда.

Однако ничего такого не попадалось. Было очень жарко, а на дороге стояла такая густая пыль от бесконечно двигавшихся повозок, что пришлось свернуть с нее подальше в сторону.

Так как Капитолина Петровна не могла даже и представить, как это можно было идти к дочери и такой милой знакомой, как Елизавета Михайловна, без подходящего подарка им, то обе руки ее оттягивали два больших арбуза, увязанные в платки.

Шли долго, — никаких длинных зданий не было видно.

Тянулся, правда, проселок вправо от дороги к каким-то убогим хатенкам под жиденькими, не способными дать тень деревцами, но нужно было, чтобы встретился солдат-санитар и объяснил, что эти-то самые убогие хатенки и есть летний госпиталь для раненых.

— Может, это и госпиталь, а только Вари тут нет, а, мама? — спросила усталая и с потным лбом и носиком Оля.

Но санитар оказался догадливый; он улыбнулся добродушно.

— Варвару Иванну ищите?.. Тогда как раз в тот вон крайний домик потрафляйте: они тамотка живут, сестрицы обои наши... также и вдовы с ними.

Можно было вздохнуть свободно, и вдвое легче сразу стали арбузы в руках Капитолины Петровны, и просияла Оля, особенно от того, что Варя с тетей Лизой, как позволяла ей звать себя Хлапони́на, живут в таком же почти вигваме, какой только что сколотил и для них Арсентий.

Через десять минут дошли.

Этот временный госпиталь, сооруженный заботами дежурного генерала горчаковского штаба — Ушакова, рассчитан был на четыреста — пятьсот раненых и больных солдат и матросов: офицерского отделения в нем не было. Верстах в двух от него по направлению к берегу моря была татарская деревня Учкуй. Другой такой же временный госпиталь расположен был дальше возле речки Бельбек, а постоянный, на несколько тысяч человек, — в Бахчисарае.

Был послеобеденный час, час отдыха для медиков и сестер, и Варя, заслышав голос матери около своего шалаша, радостно выбежала ей навстречу, а следом за ней показалась в дверях сияющая Елизавета Михайловна, и к ней влюбленно бросилась Оля.

Принесенные арбузы оказались как нельзя более кстати: все изнывали от жажды, — не только Капитолина Петровна с Олей. При госпитале, правда, был колодец, но теперь, знойным летом, воды в нем набиралось мало; воду привозили из деревни Учкуй, однако не хватало и этой воды, и когда хозяйственная Капитолина Петровна услышала об этом, она возмущенно хлопнула себя по бедрам и энергично сказала:

— Ругали бы вы его, подлеца!

— Кого же это, мама? — удивилась Оля.

— Да вот, смотрителя ихнего, кого же еще? Если он называется смотритель, то он и должен смотреть за всем порядком, а уж за тем, чтобы воды было вдоволь, это прежде всего!

С Капитолиной Петровной не то чтобы случился какой-нибудь перелом-переворот за длинное время осады, — ничего такого не случилось, — она осталась прежней, но только гораздо ближе подошла к чисто мужскому делу обороны, от которого все хотелось ей стоять в стороне вначале. Но чуть только увидела она, что стоять в стороне нельзя и что это дело не только мужское, что не только ее сын, но и дочь втянулась в это, и осудить ее не поворачивался уж язык, хотя и страшно за нее было не меньше, чем за сына, — чуть только поняла она это, она уж сама готова была вникать во все крупное и мелкое с тем пылом хозяйственности, каким всегда отличалась.

Шалаш, в который она вошла и где познакомилась с двумя сердобольными вдовами — пожилыми женщинами из петербургского «вдовьего дома», — был рассмотрен ею с понятным интересом, так как на ее глазах и при ее участии был построен подобный накануне Арсентием, и, оглядев его всесторонне, она сказала беспристрастно, хотя и без зависти:

— Ну, ваша хибара все-таки куда лучше нашей... Наша, конечно, совсем чики-брики, а в вашей, пожалуй что, жить можно.

Понравилось ей, что пол тут был смазан глиной, так что его можно было подметать веником, не поднимая при этом пыли; глиной же, по-татарски, проштукатурена была и односкатная плетневая крыша. По поводу этой крыши она сказала вдумчиво:

— Такая уж дождя не пропустит... разве-раз ве уж ливень какой, да теперь, в августе, его и ожидать нельзя.

По бокам шалаша были устроены нары, а стол изображали три не совсем ровные и гладкие доски, прибитые к пенькам. Однако и эти нехитрые удобства были оценены Капитолиной Петровной: в их вигваме не было ни стола, ни нар.

Но не только к шалашу, — она зорко приглядывалась и к обеим вдовам, потчuya их арбузом. Она стремилась разгадать, что это за старушки: не зловредны ли, не сварливы ли, чистоплотны ли? Ведь живут в одном помещении с Варей, едят с одного стола, а часто ли моют руки, если госпиталь этот так беден водой?

О том, одни ли тут, в госпитале, раненые, нет ли также и больных тифом или, еще того хуже, холерой, она уже раньше узнавала от Вари, но ей хотелось проверить, не скрыла ли чего дочь, чтобы ее успокоить, поэтому спрашивала она об этом теперь у сердобольных.

Но одна из них, с твердым, желтым от загара лицом и усталыми выцветшими серыми глазами, сказала расстановисто, по-московски растягивая слова:

— Какие уж тут, матушка, холерные! Тут хотя бы завтрашний день одних раненых поместить успеть: от своих-то, какие были, половину шалашей очистили, — три дня их, бедных, отправляли на подводах по жаре такой...

— Во-он ка-ак!.. А сюда откуда же раненых доставлять будут? Из Николаевской батареи или из Павловской? — спросила Капитолина Петровна.

— Наступление ведь ожидается завтра, мама! Разве ты не знаешь? — удивилась Варя.

Это было как раз накануне сражения на Черной речке, и Капитолина Петровна слышала об этом от Арсентия, но мельком, между делом, и не придавала этому значения, потому что подобные слухи доходили до нее и раньше, а никакого наступления все-таки не было. Она и теперь

усомнилась.

— А может, это только разговоры одни?

Но Елизавета Михайловна, глядя худенькое плечико прижавшейся к ней Оли и очень осерьезив свое расцветшее было приливом материнских переживаний лицо, ответила ей за всех:

— Нет, Капитолина Петровна, теперь уж не разговоры одни... Наступление будет от Инкермана, а кроме того — вылазка с Корабельной, большая вылазка... Так что у нас ждут раненых с перевязочного пункта Павловской батареи, из отряда Хрулева...

Она не договорила того, что ее угнетало весь этот день: в отряде Хрулева на третьем бастионе стояла батарея ее мужа, и, конечно же, эта батарея, как полевая, непременно должна была принять участие в вылазке, поддержать пехотные части. Варя же добавила между тем:

— Несколько сестер из общины, мама, отправили уже на Инкерман и на Мекензию на перевязочные пункты... Раненых ожидают тысячи!

— А как же Витя? — забеспокоилась Капитолина Петровна. — Ведь если от Корабельной войска наши пойдут... А Хрулев, ведь он — отчаянный...

— Ну, мама, точно Витя в первый раз с Хрулевым! — с невольной гордостью за младшего брата воскликнула Варя и добавила совершенно, казалось бы, ненужно и некстати: — А вот мост через рейд, скажи, начали обстреливать уж ядрами, это так! Там теперь стало очень опасно работать!

Мать понимала, конечно, почему ее Варя говорит об обстреле моста. У нее, когда она еще только собиралась идти сюда и покупала арбузы на базаре, торчал неотступно в мозгу вопрос, который хотела она задать дочери, уловив для этого подходящий момент.

Момент этот не наворачивался, — в шалаше было многолюдно и тесно, а то, что она услышала о готовящемся наступлении, заставило ее обратиться к Хлапониной с другими возбужденными вопросами:

— Неужто же решили наши покончить с ними? Большие, значит, подкрепления подошли?

— Да ведь две дивизии уж пришли, а гренадерский корпус, говорят, прошел уж через Перекоп, — сказала Хлапониная.

— Ну, слава богу, когда так! — и Капитолина Петровна торжественно

перекрестилась.

Момент для вопроса, с каким она шла сюда, выбрался только тогда, когда Варя ее провожала. Правда, провожать пошла и Хлапонина тоже, но они с Олей несколько отстали, и, заметив это, мать вполголоса обратилась к дочери, свадьбу которой справляла в июне:

— Что, как, не чувствуешь еще?.. Не в положении?

Варя заметно покраснела под пытливым взглядом матери и ответила так же тихо, почти шепотом:

— Может быть... А впрочем, скорее всего, что нет еще...

Ответ был очень неопределенный, однако в том, как звучала эта неопределенность, для чуткого уха чудилась какая-то положительность, и это еще больше взвинтило возбуждение Капитолины Петровны, навеянное разговорами о наступательных действиях, назначенных на следующий день.

IV

Возбуждение, которым поделилась она с мужем, сменилось на другой день к вечеру подавленностью, большим беспокойством, опасениями всех родов, которые только расширялись и укреплялись в последующие дни под влиянием потрясающей канонады, когда конец Севастополя представлялся неизбежным вот-вот, — не сегодня, так завтра, и что тогда делать, куда деваться?

Даже когда 9 августа канонада сделалась обычной, спокойствие все-таки не приходило. Иван Ильич вытягивал худую жилистую шею, поднимал брови и вслушивался долго, не перекроет ли ленивую перестрелку раскатистое «ура» штурма. Взяв с собою Олю, он медленно, но упрямо направлялся к рейду, к тому месту, откуда хорошо видно было, как идут работы по постройке моста, где неотрывно проводил время зять, поручик Бородатов.

Мост строился; мост, как это можно было определить на глаз, был установлен больше чем наполовину. Это ободряюще действовало на Зарубина. Немоощный сам, он начинал чувствовать снова прилив упорной уверенности в том, что Севастополь, несмотря на большую неудачу на Черной речке, все-таки не отдадут.

Вышедший в тираж, отброшенный от дела обороны, он не переставал

жить в этой именно обороне и на Корабельной, где был сын Витя, и в госпиталях, где выхаживала раненых дочь Варя, и вот теперь на этом мосту, который никому не приходил в голову раньше, который должен был связать Северную сторону с Южной и который строит наряду с другими его зять, сапер.

А мост строился отважно, как отважно был он задуман, не только на виду защитников Севастополя, но и на виду врагов, наблюдавших в зрительные трубы за каждым шагом этой смелой постройки.

Бородатов на работу по постройке моста напросился сам: слишком захватила его мысль создать то, без чего гарнизон Севастополя представлялся уже и теперь как бы оторванным от остального Крыма. Ему все вспоминались слова Корнилова солдатам одного из пехотных полков: «Деваться нам некуда: с одной стороны неприятель, с другой — море...» — море в виде широкого залива, переброска через который и войск, и снарядов, и орудий была затруднительна чрезвычайно. Зная, как его ценил Тотлебен, Бородатов обратился к нему, и тот рекомендовал его в письме к генералу Бухмейеру.

Под командой Бородатова было сорок человек саперов, в помощь которым набрали до шестидесяти солдат, знакомых еще до службы с тем, как вязать плоты. В день делалось девять-десять плотов, весь же мост, считая с пристанями, рассчитан был на восемьдесят шесть.

Связанные и окованные железом плоты спускались в воду, и небольшой паровой катер подтаскивал их на буксире к тем местам, какие должен был занимать каждый, а там плоты ставились на якорь.

Палубились толстыми, почти двухвершковыми досками плоты на берегу, а там, на месте, на рейде, с обеих сторон моста протягивались на столбах перила из корабельных канатов. Ширина моста — три сажени — была рассчитана на продвижение по нем и воинских частей в обычном порядке и орудий.

Работа шла споро и весело, хотя время от времени английская батарея «Мария» посылала сюда крупнокалиберные ядра. Два бревна, разбитых такими ядрами, пришлось уже заменить другими, заготовленными про запас.

На письмо Горчакова о пятой бомбардировке, которая, по мнению главнокомандующего, должна была скоро довести «до необходимости

очистить город», царь Александр отвечал:

«Если обстоятельства принудят вас оставить южную часть Севастополя и вместе с нею жертвовать остатками нашего флота, то дело еще далеко не потеряно. Усиливши еще более укрепления Северной стороны и со вновь прибывающими к вам дружинами, вы будете довольно сильны, чтобы встретить неприятеля в поле и не дать ему проникнуть в глубь полуострова. Повторяю вам, что если суждено Севастополю пасть, то я буду считать эпоху эту только началом новой, настоящей кампании».

Так дело стояло там, вверху, так смотрели на близкую участь Севастополя главнокомандующий русской армией и царь, но совсем иначе представляли себе то, что они делают, солдаты-плотовязы, саперы и молодой поручик Бородатов: для первых мост через рейд должен был служить для укрепления Северной стороны за счет Южной и Корабельной; для вторых, совершенно наоборот, мост крепил и множил гарнизоны бастионов за счет Северной и всего Крыма.

И строившийся мост отнюдь не был беззащитен: чуть только открывалась пальба с «Марии», дальнобойные орудия батарей Северной стороны отвечали так энергично, что отбивали охоту у англичан продолжать обстрел.

Кроме Константиновского, Михайловского, Екатерининского фортов и промежуточных батарей, устроенных здесь еще до войны, а также огромного Северного укрепления, которого не решились атаковать интервенты в сентябре, несмотря на свое превосходство в живой силе, третья сторона Севастополя и вдоль берега рейда и далеко вглубь имела теперь уже много укрепленных пунктов.

Было достаточно времени, чтобы обдуманно и планомерно превратить эту часть Севастополя в куда более сильную крепость, чем та — на Южной и Корабельной, — о которую в течение одиннадцати месяцев разбивались все усилия могущественных стран Европы.

Французы и просвещенные мореплаватели, их союзники, с удивлением следили за быстрой и ловкой работой русских саперов.

— Откуда взяли вы бревна такой чудовищной величины? — спрашивали впоследствии русских офицеров французские и английские. — И как могли вы с такой поразительной быстротой

справиться с труднейшим этим делом?

Как бы то ни было, но справились действительно с исключительной быстротой: начатый 2 августа мост в версту длиною был готов к 15-му — к успеньеву дню, то есть ровно за две недели, и первый, кто проехал в коляске по этому мосту с Северной стороны на Южную и потом обратно, был сам генерал Бухмейер.

Это была торжественная минута! За смелым вояжем строителя моста наблюдал, насколько хватало его глаз, сам Горчаков, так нетерпеливо дожидавшийся окончания работ. В большой свите его, с ним вообще неразлучной, были теперь еще и священники в блестящих на солнце ризах, которые тут же по возвращении Бухмейера, совершенно целым и невредимым, приступили, по приказу князя, к церемонии освящения моста.

Генерал Липранди, бывший тоже в свите Горчакова, острил при этом, обращаясь к генерал-квартирмейстеру Бутурлину:

— Не правда ли, какое знаменательное совпадение: два успения!

Что освящаемый мост является предвестником близкого «успения» Южной и Корабельной сторон, было, конечно, хорошо известно всем генералам горчаковского штаба.

V

Подъем духа главнокомандующего, вызванный окончанием и освящением моста, был так высок, что тут же после церемонии, наградив всех строителей (Бородатов получил первый свой орден — анну в петлицу), князь отправился в город с целью навестить снова бастионы.

Подковы верховых коней звучно цокали по настилу моста, когда кавалькада продвигалась с одного берега рейда на другой, и Горчаков ерзал в седле, оглядывая залив вправо и влево. Он имел вид победителя, так как будущее севастопольского гарнизона представлялось ему теперь вполне устроенным. В этом смысле и в Петербург была уже отослана им радостная «телеграфическая депеша».

Но именно теперь, когда путь отступления многострадального севастопольского гарнизона был обеспечен, с Горчаковым произошло

то, что нередко случается с натурами нерешительными под влиянием хотя бы и небольшого успеха: остановив коня на пристани Южной стороны и впиваясь подслеповатыми глазами в прямую, узкую, но, как оказалось, прочную полосу моста, светло-желтую на иссиня-зеленой воде рейда, он сказал совершенно неожиданно для Коцебу, Бутурлина, Липранди и других:

— Мы будем защищать Севастополь до последней крайности! На Северную отходить я не разрешу, пока будет хоть малейшая возможность отбить штурм.

— А если неприятель будет всячески оттягивать штурм, чтобы нанести нам как можно больше вреда бомбардировкой, ваше сиятельство? — возразил Коцебу. — Если сейчас мы несем потери до тысячи человек ежедневно, то...

— То и неприятель тоже несет потери от нашего огня! — перебил его Горчаков, досадливо махнув рукой. — На штурм поэтому он должен решиться... А если мы отобьем штурм, то... он уже не отважится, нет, не отважится на третий штурм до зимы, и тогда ему останется на выбор одно из двух: или зимовать здесь еще, или совсем снять осаду! Лицо Горчакова при последних словах стало до того самоуверенным, даже, пожалуй, надменным, что Коцебу счел за лучшее отложить возражения до другой минуты.

Ослабевшая 9/21 августа канонада не прекращалась ни на один день. Если огонь со стороны противника и не доходил до ураганной силы, как в пятую бомбардировку, то все же он был весьма силен, особенно против русских верков, которые главным командованием союзных армий решено было занять в первую голову в день штурма.

Таким обреченным укреплением оборонительной линии был, кроме бастиона Корнилова, второй бастион, и именно туда-то, как в наиболее уязвимое место, направился Горчаков поднять дух защитников, так как большой подъем духа чувствовал он сам; однако случилось несколько иначе, чем он думал.

Началось с того, что генерал Сабашинский, встретивший его рапортом, едва не упал на него, зацепившись своим костылем за предательски торчавший из земли осколок большого снаряда.

— Вы устали, вам надобно отдохнуть, — недовольно сказал Горчаков,

приняв рапорт.

— Никак нет, ваше сиятельство, в отдыхе не нуждаюсь! — отозвался, покраснев, Сабашинский.

— Однако как нога ваша?

— Ноге гораздо лучше, ваше сиятельство... А гарнизон бастиона несет очень большие потери...

— Сколько имеется людей в наличности? — спросил Горчаков.

— В трех полках восьмой дивизии, а именно: Полтавском, Кременчугском и Забалканском, едва ли найдется в данный момент в наличности две с половиною тысячи человек.

Держался Сабашинский по привычке браво, и вспомнив о золотом оружии, которое было дано им этому бравому генерал-майору для его раненого сына, Горчаков спросил:

— А как здоровье вашего сына?

— Отправлен в Бахчисарай, в госпиталь, после ампутации, ваше сиятельство.

Горчаков помолчал, пожевал губами и пошел вперед.

Несколько человек солдат-забалканцев делали неотложное — уносили на двух носилках раненых товарищей, продвигаясь как раз мимо главнокомандующего со свитой.

— Много ли осталось вас здесь на бастионе? — спросил Горчаков.

Не опуская носилок, передний из солдат, несколько подумав, чтобы ответ был как можно более точен, сказал отчетливо:

— На три дня должно хватить, ваше сиятельство!

Горчаков кивнул ему головой, чтобы шел дальше со своею грустной ношей, слабо стонавшей под шинелью, с рукава которой сбегала кровь, а сам повернулся к Сабашинскому:

— Далеко ли неприятель?

— Он приближается к нам тихой сапою, ваше сиятельство, и она теперь уж не дальше, как в тридцати сажнях, — ответил Сабашинский.

— В тридцати сажнях! Это потому, что им не мешают, вот почему!..

Горчаков сказал это как бы про себя; он не то чтобы был раздосадован, не то чтобы удивлен: он только самому себе, хотя и вслух, попытался объяснить успехи французов здесь, перед вторым

бастионом, которые затмевали вот теперь его собственные успехи там, на рейде, по устройству моста.

— Мы стараемся мешать им, ваше сиятельство, всеми средствами, — живо отозвался на замечание главнокомандующего Сабашинский. — Мы обстреливаем сапу их как только можем, но ведь превосходство огня на стороне противника.

— А вылазки? — сказал Коцебу.

— Вылазки делались, но за близостью расстояния они не имели успеха: плацдармы по ночам позади сапы бывали заняты большими их силами...

— И все-таки, несмотря ни на что, бастион надобно удержать! — решительно сказал Горчаков. — Удержать во что бы то ни стало!

Сабашинский пытливо поглядел на него, потом на Коцебу, как человек, уже нашедший способ, как удержать за собой этот участок линии обороны.

— Нужно устроить ретраншементы, ваше сиятельство, и защищать тогда будем уж их, а бастион придется взорвать, — почтительно, но твердо проговорил он.

— Устроить абшнит позади бастиона? — переспросил, употребив другое слово, Горчаков. — Да, с этой ночи начните строить абшнит... Непременно! — с большим апломбом, точно это была его личная мысль, приказал он Сабашинскому. — А верки бастиона взорвать во время штурма!

Разговаривать с командиром прикрытия второго бастиона о чем-нибудь еще было трудно, шла перестрелка; разгуливать по бастиону и благодарить за службу именем царя теперь уже Горчаков счел излишним: ходить тут теперь могли только очень привыкшие к этому укреплению люди, которые умели где обходить воронки, где перепрыгивать через них, как и через другие препятствия, внезапно возникавшие на совершенно изувеченной площадке; кроме того, над головой то и дело пролетали певучие пули.

Покидая бастион, ставший самым опасным местом на всей оборонительной линии, Горчаков, уже позади горжи, вступил в деловой разговор с Сакеном, которому и на этот раз не удалось благополучно достоять до конца обедню в церкви Николаевской

батарей.

Правда, церемония освящения моста проходила, конечно, при нем, как при начальнике гарнизона, и поэтому вполне в состоянии был он, сопровождая на второй бастион главнокомандующего, поддерживать в нем необходимую бодрость духа.

Эта бодрость обуяла Горчакова еще накануне вечером, когда Бухмейер доложил ему, что мост совершенно готов. Совершилось давно желанное: возможность вывести гарнизон Южной и Корабельной сторон в случае удачного для союзников штурма подоспела раньше, чем предполагалась, а союзники все еще не решались идти на штурм.

Удача окрыляет, заставляет преувеличивать свои силы. Поэтому Горчаков сейчас же после доклада Бухмейера написал, ничего не сказав о том своему начальнику штаба, письмо царю.

«Я решился не отходить на Северную часть, а продолжать защищать Южную с упорством до того времени, пока уже увижу невозможность отбить штурм. Конечно, мы будем между тем нести большой урон и, может быть, даже не отобьем штурма. Но взамен может случиться, что нам удастся отбить неприятеля, а может быть, и принудить снять потом осаду: ибо я никак не думаю, чтобы неприятель решился провести вторую зиму в теперешнем положении. Если приступ будет отбит, он, вероятно, отойдет в Камышовые и Балаклавские укрепления, которые весьма сильны, а большую часть своих войск отвезет в Константинополь.

Намерение мое подвергает нас большим случайностям, но надобно выбирать из двух зол менее вредное и в особенности держаться тех действий, которые наиболее соответствуют чести русского оружия. Продолжение до крайности защищать Севастополь, конечно, будет для нас славнее, чем очищение его без очевидной необходимости. Действуя так, армия понесет, может быть, большой урон, но она для того и существует только, чтобы умирать за вашу славу.

В этих видах я не останавливаю следования сюда дружин средних губерний, дабы не упустить времени и иметь возможность подкрепиться ими, в случае если дела примут благоприятный оборот». Это письмо было способно, разумеется, поднять настроение и там, в

Петербурге, но теперь, побывав на втором бастионе, Горчаков досадовал уже на самого себя за то, что поспешил отослать его рано утром.

Фельдъегерь сломя голову мчался с ним до Москвы по ухабистым пыльным большакам, спасительно отсыпаясь в поезде Николаевской железной дороги прежде, чем предстать с ним перед царем двадцать первого августа. Воодушевленный этим письмом своего главнокомандующего, Александр тут же сел писать ему ответ:

«Решение ваше не оставлять Южной части Севастополя без крайней необходимости не могу не одобрить, ибо оно, по мнению моему, соответствует вполне и чести нашего оружия и пользам России, за что искренне благодарю вас.

Я также совершенно разделяю вашу мысль, что если бог благословит отбить новый штурм, что весьма может быть, то сия новая неудача принудит союзников снять осаду, ибо едва ли решатся они провести вторую зиму в Крыму.

Вы вновь предугадали мою мысль не останавливать следования дружин ополчения. Предположение мое о пополнении ими растаявших полков нашей армии должно уже быть в ваших руках. Теперь буду ожидать донесения вашего об исполнении сей полезной меры...»

Этому царскому письму, сколь ни быстро мчался с ним обратно в Севастополь тот же флигель-адъютант, не суждено уже было соответственно обрадовать Горчакова: к тому времени, как было доставлено оно, решающие события совершились и оно потеряло свою силу.

Однако, если бы каким-нибудь чудом подобное письмо и очутилось бы в руках Горчакова даже и теперь, 15 августа, в полдень, он только покачал бы горестно головой, так удручающе подействовало на него то, что увидел он, а точнее почувствовал, на втором бастионе.

От Сакена он узнал, что и на Корниловском, особенно на левой его половине, картина была та же самая, и траншеи французов были так же близко, как и здесь.

— Делаем все, что в наших силах, но несем очень большие потери, — добавил при этом Сакен. — Ведь одиннадцатые уже сутки гарнизон находится в непрерывном огне! И офицеры и нижние чины — все

очень устали, ваше
сиятельство!

— Да... да, устали... И Сабашинский не ударил бы меня своей головой в живот, если бы не утомился, — задумчиво отозвался на это Горчаков. — А вы, вы ведь слышали, как сказал этот, с носилками, забалканец: «Дня на три должно нас хватить...» Только на три, а дальше как? Необходимо пополнить состав полков курскими дружинами... Распоряжение об этом я сделаю сегодня же.

Сакен приложил руку к козырьку и несколько наклонил голову. Сказать что-нибудь по этому поводу он не решился, но ополченцы казались ему неподходящими для бастионов. Горчаков же, развивая свои мысли в новом уже направлении, прямо противоположном тому, какое имели они накануне и в этот же день, но только утром, обратился к нему вдруг с самым решительным видом, точно перед ним был противник:

— Дмитрий Ерофеевич! Нам надо начать перевозить имущество арсенала на Северную! Весь порох в бочонках отправить туда же... Потом, я думаю, примерно третью часть полевых батарей нужно будет тоже снять с оборонительной линии и отправить... кстати, это будет хорошее испытание для моста...

Такого резкого поворота в мыслях князя не ожидал даже и привыкший уже к нему за последние годы службы Сакен.

Раскрывая все шире от изумления глаза и рот, он счел нужным осведомиться, наконец:

— Надеюсь, я получу об этом письменное распоряжение вашего сиятельства?

— Ну да, конечно, вы получите совершенно секретную бумагу об этом за моей подписью сегодня же, — громко против обыкновения и почти совершенно не шепелявя сказал главнокомандующий.

VI

Движение по мосту было открыто в тот же день, как только Горчаков вернулся с Корабельной на Северную, но был не только приказ никого не допускать на мост без пропуска, а даже поставлены были для этой цели два младших офицера от пехотных частей — один на пристани

близ Михайловской батареи, другой — на противоположном конце моста, около Николаевской.

Офицеры эти и выдавали пропуска, тратя для этого листки своих записных карманных книжек, которых все-таки не хватило, так как желающих пройти по морскому заливу, как посуху, оказалось много, хотя переезд на лодках был по-прежнему дешев.

Между тем быстро разнеслось по гарнизону, что без пропусков на мост не пускают, только не все знали, от кого надо получать эти пропуска; и вот перед вечером на пристани Южной стороны появился дюжий матрос с готовым уже пропуском, написанным на очень грязном, измятом и совершенно бесформенном клочке бумаги не стесняющейся, однако, рукой.

Этот «пропуск» матрос подал дежурному офицеру, и офицер, молодой подпоручик, очень уставший от жары и сутолоки, расхохотался весело, прочитав каракули.

— «По приказанию саперного адмирала Бухмериуса дозволяется матросу 33 экипажа Лукьяну Подгрушному проходить по мосту во всякое время...» Кто же это тебе писал такой пропуск? — хохоча, спросил подпоручик матроса.

Подгрушный, которому разрешена была отлучка до вечерней зари в госпиталь на Северной, где работала его невеста Даша, видя крайнюю веселость офицера, не скрыл от него, что писал это не кто иной, как квартирмейстер Кошка. Этот Кошкин пропуск подпоручик спрятал на память, а Подгрушному выдал свой.

Пальба по мосту теперь уже не одной «Марии», а трех батареями противника не прекращалась до ночи, однако не прекращалось и весьма оживленное движение по нем и пеших, и конных, и огромных троечных фур. Спаявший прочно третью сторону Севастополя с двумя первыми, мост из плотов сразу вошел в установившийся обиход жизни защитников крепости, как давно искомое и, наконец, найденное, хотя и поздно, все-таки удачно.

Особенно усиленно шло движение по мосту ночью, когда Северная сторона, по заранее данным приказам, посылала Южной все, что заготовлено было для нужд обороны, но отнимало много времени на перегрузки с берега на катеры и шаланды, с шаланд и катеров на

другой берег. По мосту же двигались и курские ополченские дружины, назначенные в подкрепление гарнизона четвертого отделения оборонительной линии и смежных с ним участков.

Солдаты на бастионах и батареях были рады, когда появились среди них степенные бородачи с медными крестами на шапках:

— Ого, брат француз, теперь держись за бока: нутрё нашей Расеи пришло!

Но сами ополченцы, от сохи попавшие под обстрел нескольких сот орудий и под непрерывный дождь штуцерных пуль, пугливо оглядывались по сторонам, отказываясь понимать, как можно держаться здесь хотя бы десять минут подряд.

Русские батареи отвечали противнику одним выстрелом на три, но позиции французов и англичан так сблизилась уже с русскими, что потери их от слабого русского огня все-таки были велики.

А утром 17/29 августа бомба большого калибра, пущенная с батареи Будищева, взорвала большой пороховой погреб на Камчатке, и взрыв этот был так силен, что на всей Корабельной земля задрожала у всех под ногами, и даже в таком массивном четырехэтажном здании, как Николаевский форт, от сотрясения воздуха вылетели не только стекла из окон, но вдребезги разлетелись и самые рамы.

Обратились было к Сакену, — вставлять ли рамы? Но Сакен, помня секретный приказ Горчакова, только отрицательно махнул рукой. Окна стали завешивать на ночь рогожами, соломенными матами, одеялами, чем попало, так как сквозной ветер тушил свечи.

А 19/31 августа с наступлением темноты начал разгружаться и переводиться по приказу Горчакова арсенал, так долго соперничавший своими запасами с боевыми средствами союзников, и по новому мосту на другой берег рейда тянулись, грохоча, гулкие фуры и полуфуры, увозя порошок, и готовые заряды, и все другое, что, по мнению главнокомандующего, могло бы попасть в руки неприятеля в случае удачного для него штурма, но должно было пригодиться для укрепления третьей стороны Севастополя. Двигались одно за другим и полевые орудия, предназначенные для этой цели, — всего тридцать из ста восьми, бывших в запасе...

Ретраншементы позади второго бастиона выводились, но в то же самое

время, по приказу князя, принимались все меры к тому, чтобы без промедления были отбиты, когда настанет крайний момент, цапфы у чугунных орудий, чтобы достались они противнику в испорченном виде.

Канонада не переставала греметь и 20 и 21 августа, но осажденные видели, что долго греметь она уже не будет: атакующие, продвигаясь тихой сапой, подошли уже на восемнадцать сажен ко второму бастиону и были всего в двенадцати саженях от рва Малахова кургана... Идти дальше было уже им совершенно излишне: для штурма было подготовлено все.

Глава пятая. Перед штурмом

I

Когда два опытных шахматиста думают над своими фигурами на доске, они способны обдумывать один только ход целые часы, чтобы угадать, что может предпринять противник, если будет сделан такой-то ход.

Хотя Горчакова и дергали то и дело из Петербурга, давая ему этим понять, что в сущности игру-то ведет не он, все-таки Крымская армия была в его руках, он был главнокомандующим там, где политические вопросы решались силой оружия.

Проиграв, с большими потерями при этом, наступление на Федюхины горы, задуманное в Петербурге и подсунутое ему для исполнения, он считал себя вправе написать военному министру Долгорукову в письме от шестого августа: «В моей армии нет ни одного человека, который дальнейшую оборону Севастополя не считал бы безумием».

Но это письмо писалось им и было отправлено до посещения Малахова кургана. Человек весьма впечатлительный, он круто изменил своим настроениям, побывав на бастионах, где изумила его стойкость солдат, матросов, пластунов.

Однако прошло всего несколько дней, и в письме двенадцатого августа тому же Долгорукову он снова писал о «безумии защищать то, чего нельзя защищать». В этот же день он обратился к Тотлебену, который уже оправлялся от своей раны, чтобы тот составил для

доклада ему подробный план эвакуации Южной и Корабельной сторон, имея в виду огромную трудность этого шага на глазах многочисленного врага, висевшего всей своей массой на плечах осажденных.

Тотлебен, неотрывно следивший из Бельбека за всем, что происходило в Севастополе, быстро набросал план отступления гарнизона.

Для того чтобы прикрыть отступающие к мосту войска Южной стороны, он предложил устроить немедленно баррикады поперек улиц и наиболее сильную из них на Морской, у верховьев Артиллерийской бухты. Эти баррикады вместе с оставшимися зданиями должны были создать сплошное предмостное укрепление, способное удержать противника, пока отойдут через мост все части с городских бастионов. Войска же Корабельной стороны, имея в тылу у себя Павловский форт, должны были переправиться через рейд с Павловского мыска на судах. Для прикрытия их отступления Тотлебен проектировал уже не одну, а две линии баррикад, вооруженных пушками-карронадами, как и на Южной стороне, а в случае надобности даже и полевой артиллерией, так как переправа на судах не могла пройти так быстро, как от Николаевского форта через мост.

Оставлять неприятелю совершенно нетронутыми такие огромные мощные здания, как Николаевский и Павловский форты, конечно, значило бы дать ему слишком богатую добычу, поэтому Тотлебен предложил немедленно приступить к минным работам по устройству камер для их взрыва.

Взрывы же всех вообще пороховых погребов на бастионах и батареях, по мере их оставления войсками, он признавал необходимым производить постепенно от дальних к ближним, считая эти взрывы могучим средством удержать противника в должных границах, пока большая часть гарнизона не переправится на другой берег.

Наконец, для обстреливания войск противника, когда войдут уже они на Корабельную и Южную, предложено им было установить одиннадцать новых батарей на берегу, вправо и влево от старой батареи № 4.

Этот проект Тотлебена был положен Горчаковым в основу работ штаба Остен-Сакена пятнадцатого августа. Тогда же приказал

главнокомандующий перевезти все мастерские, лаборатории, войсковые штабы, архивы, канцелярии, равно как и главные запасы пороха и все имущество арсенала и артиллерийской части, на Северную.

Казалось бы, решение было принято твердое, как стоящее на очень продуманных, вполне прочных основах. И всю ночь на девятнадцатое августа новый мост пропускал через рейд и орудия, и бочки с порохом, и прочие весьма ценные военные грузы.

Но двадцатого числа Горчаков пришел к мысли, что оставлять без решительного боя Южную и Корабельную стороны бесчестно. Поэтому он писал военному министру:

«Я решился упорно продолжать оборону Южной стороны столько времени, сколько это будет возможно, так как это самый почетный для нас выход».

Его расчеты были очень просты: они не шли дальше четырех правил арифметики.

После усиленной четырехдневной пятой бомбардировки канонада как бы вошла в размеренные границы, выводя из строя, большей частью убитыми, восемьсот — девятьсот человек ежедневно. Нужно было только помножить эти восемьсот — девятьсот на тридцать, чтобы получить приблизительно, в круглой цифре, двадцать пять тысяч.

Вслед за курским пополнением должны были подходить другие ополченские бригады. Части дружин думал он вливать в пехотные полки, бывшие в его армии на Инкермане, и этими соединениями питать севастопольский гарнизон, оставив не более двадцати тысяч для защиты своего левого фланга против правого фланга союзников.

Таковыми жертвами в «ступку», по восемьсот — девятьсот человек ежедневно, он думал продержаться еще месяц, то есть почти до конца сентября, когда недалеки уже были осенние равноденственные бури на Черном море, вполне способные испортить снабжение армии интервентов.

Однако эти расчеты русского главнокомандующего оказались слишком прямолинейны и однобоки: он недооценил боевых средств противника, а они были очень велики.

Начиная с 9/21 августа интервенты бросали на бастионы, в город и

бухту в среднем по девяти тысяч снарядов в день, причем большая часть этих снарядов падала на Корабельной, ежедневно приводя к молчанию второй бастион и левую половину Корниловского.

Русские укрепления отвечали на этот огонь тремя-четырьмя тысячами ядер и бомб ежедневно; это как бы уравнивало действия артиллерии союзников, не слишком истощая в то же время склады боеприпасов, расход которых был учтен Горчаковым так же прямолинейно, как и расход живой силы.

Надеясь на какое-то «авось», можно было, по выкладкам князя, тянуть, оттягивать конец защиты почти до октября. Но главнокомандующие армией интервентов, собранные на военный совет главнейшим из них — маршалом Пелисье, решили иначе.

Из генералов французской армии были приглашены на этот совет только начальник инженеров Ниэль, командир 2-го корпуса Боске, главный инженер этого корпуса генерал Фроссар, начальник всей артиллерии французской армии генерал Тири и генерал Мартенпре, как начальник штаба Пелисье; из английских же генералов только инженер-генерал сэр Гарри Джонс.

Совет был собран в главном штабе французской армии 22 августа (3 сентября), то есть почти через месяц после подобного же совета, созванного Горчаковым в Николаевских казармах, но в противоположность тому совету, тоже решавшему участь Севастополя, тут не было лишних людей.

По существу это был совет инженеров, генерал же Боске был приглашен потому, что ему поручалось решение задачи огромной важности: произвести штурм двух наиболее разрушенных русских укреплений — Малого редана, как называли французы второй бастион, и Малахова кургана.

К тому, что штурм назрел, пришел даже и Ниэль, порицавший Пелисье за преждевременность отбитого с большими потерями июльского штурма. Среди собравшихся в ставке французского главнокомандующего не раздалось ни одного голоса против штурма в ближайшее же время. Говорилось о том, что огонь с русских верков, как они ни разбиты, как ни приведены они почти в полную негодность на Малом редане и Малаховом кургане, все же производит большие

опустошения в рядах осаждающих. Взрыв порохового погреба на редуте Брисьема 17/29 августа стоил полтора человека, кроме того, что нанес огромные повреждения нескольким батареям; взрыв погреба на Зеленой горе, у англичан, случившийся в тот же день, тоже не обошелся без больших жертв. Почти еженощные вылазки осажденных не только сводят местами на нет траншейные работы перед русскими верками, но еще сильно опустошают ряды передовых частей. Общие потери войск за восемнадцать дней бомбардировки дошли до четырех с половиной тысяч человек, из которых две трети убитыми. Пусть потери русских за это время гораздо больше, но... но они и должны были по всем расчетам быть больше; между тем, по точным сведениям, в Крым направлено несколько десятков тысяч ополчения, и, кроме того, сюда же марширует корпус гренадеров, и если ополчение едва ли очень боеспособно, то гренадерские полки относятся к лучшим русским войскам...

После сообщения генерала Тири о состоянии артиллерийской части во французской армии и сэра Гарри Джонса о том же в английском корпусе, атакующем Большой редан, было решено, подготовившись к тому в следующий день, начать усиленную бомбардировку, последнюю перед штурмом. Вопрос о дне штурма не решался, потому что Пелисье, соблюдая сугубую осторожность, его и не ставил на обсуждение.

В том, что штурм на этот раз будет иметь успех, никто из приглашенных на совет не сомневался, но цена этого успеха оставалась для каждого загадкой. В том, с какой быстротой русские умеют придвигать к фронту свои резервы, французские генералы убедились во время июньского штурма. В том же, что даже и самым секретным образом, но заблаговременно принятое решение каким-то путем становится, видимо, известным противнику, им тоже приходилось убеждаться не один раз.

II

Шестая — и последняя — усиленная бомбардировка Севастополя началась 24 августа в пять утра, как обычно, но была она совершенно необычна по силе огня.

Готовясь к решительному штурму, интервенты собрали все свои

средства уничтожения, достигшие к этому времени небывалых размеров. Против Малахова кургана, площадка которого простиралась в ширину всего только на полтора метра, было выставлено сто десять осадных орудий, из которых почти половина мортир; против совершенно уже измолоченного снарядами второго бастиона — девяносто орудий...

Для действия по городу и флоту были назначены особые батареи, среди которых ракетные выбрасывали большей частью зажигательные ракеты, чтобы вызвать пожары. Наконец, иные орудия союзников перекидывали на русские укрепления не ядра, не гранаты, не бомбы, а большие бочонки с порохом, к которым прикручивались зажженные фитили. Взрываясь при падении, один такой бочонок способен был, как оказалось, разметать в пыль целый траверс из плотно сложенных земляных мешков и открыть площадку бастиона для пуль.

Но крупные круглые пули гранатной картечи дождем сыпались на защитников укреплений и сверху. Не было и аршина места, где бы не рвались бомбы, куда бы не шлепались гулко ядра, глубоко врезаясь в рыхлую землю, и где не могли бы задеть осколки лопнувших гранат. Даже и толстые накаты блиндажей трещали и обрушивались на тех, кто отсиживался в них, дожидаясь своей очереди идти чинить ли крыши погребов, тушить ли щеки загоревшихся амбразур, подносить ли снаряды к орудиям...

Уже первые полчаса такого огня, какого все-таки не ожидали на русских бастионах и батареях, стоили сотен убитых и раненых, и раненые корчились на земле, вопя о помощи, но к ним не подходили с носилками.

Убирать раненых было запрещено, потому что около одного раненого при этом в несколько мгновений вырастала кучка других раненых или убитых.

Сигнальные стали было на свои места в начале канонады и начали было привычно выкрикивать: «Маркела!.. Лохматка!.. На-а-аша, береги-ись!» — но эти «маркелы» и «лохматки» мчались в таком изобилии, такую тучей, что очень скоро кричать о них стало совершенно ненужным занятием, да и сами сигнальные падали то здесь, то там, чтобы больше уже не подняться.

Жаркий день, — небо было безоблачно, солнце щедро на ласку, — сразу сделался вдвое, втрое жарче — от горячего дыма, горячей пыли, раскаленных тел орудий, от пожаров, наконец, когда загоралась фашинная одежда мерлонов и пылали щеки амбразур...

Но воды было мало. Вода, как заведено было с начала осады, хранилась в корабельных анкерках, и их осушили уже в первые часы канонады, иные же анкерки были разбиты ядрами. Между тем о том, чтобы подвезти воду защитникам бастионов, нельзя было и думать: ураганный огонь то и дело открывался по всем подступам, по всем дорогам, ведущим к укреплениям.

Артиллерия французов была теперь уже настолько сильна сравнительно с русской, что как на втором, так и на Корниловском бастионе сопротивляться ей могли уже не орудия, наполовину подбитые, а только сами бойцы, матросы и солдаты с их поражающим, спокойным презрением к смерти.

Не один только солдат-забалканец мог бы теперь ответить на вопрос Горчакова: «Сколько вас на бастионе?» — «Дня на три должно хватить, ваше сиятельство...»

На что именно хватить должно? На то только, чтобы все виды истребления людей, которые были придуманы к тому времени человечеством, были обрушены на защитников севастопольских укреплений в таком количестве, с такой энергией, каких не знала история войн, и чтобы эти люди в потных, хоть выжимай, рубашках держались на своих местах, пока их не разрывало в куски, а на их место тут же с огромной деловой поспешностью становились их товарищи, и так без перебоев одни заменяли убитых, другие — раненых, с величайшей готовностью, зная, что это-то именно и требуется для дела защиты, и соображая про себя, что «дня на три должно хватить»... А там пришлют, разумеется, других таких же точно...

Никто не бежал, испуганный, пораженный, даже из тех, кто впервые в своей жизни видел такую адскую бойню. Спокойное нахимовское «мы все здесь останемся» стало воздухом бастионов. Миллиону пудов чугуна, пущенного с невиданной силой, сопротивлялись в конце концов только человеческие тела с ясным сознанием того, что всех

все-таки не перебьют, что «должно хватить» для отражения штурма... День этот — 24 августа — был ясный всюду в Крыму и кругом на море, но в Севастополе солнца не было видно, — ни солнца, ни клочка синего неба, — и в густейшем пороховом дыму, смешанном с пылью, двигались команды солдат, вызываемых из прикрытия для работ на крышах пороховых погребов, чтобы засыпать там воронки в насыпях, а когда над ними лопалась граната, осыпая их осколками и картечью, то, оттащив в сторону раненых и убитых, остальные принимались за лопаты, не покидая работы.

Никто не бежал в ужасе, хотя на это рассчитывали осаждающие, как не бегут с палубы корабля матросы во время сильнейшего морского боя; но палуба корабля окружена водою, — здесь же был в силе соблазн бегства от смерти, но преодолен был всеми этот соблазн.

«Должно хватить» до штурма, а пока туши то и дело вспыхивающие пожары, потому что загораются туры и фашины, пылают мешки траверсов и амбразур, и тушить их можно только землею, больше нечем... Сыплются лопаты сухой хрящеватой земли в огонь... Матрос с топором в руке обрубает, закрывая левой рукой лицо от пышащего пламени, горящий хворост фашин... Но вот грузно падает рядом присланный врагами бочонок пороха и тлеет его фитиль... Момент еще, и взорвется порох, и разбросаны будут мешки траверса, и горящие туры, и люди, разорванные в клочья... Матрос кидается к бочонку, одним взмахом топора обрубает фитиль, а шестипудовый бочонок отталкивает ногой подальше, чтобы закатить его в глубокую воронку, где он не так опасен.

Несколько часов совершенно невыносимого огня, и вдруг, как оборвало, ни одного выстрела оттуда, — торжественная, тревожная тишина... Штурм?

Барабанщики на бастионах, срываясь то и дело, забили тревогу, из блиндажей выскочили солдаты прикрытия и кинулись бегом, к банкетам, — к тем местам, где, они знали, были приготовленные для них банкеты у брустверов и где теперь не только не виднелось банкетов, но и половина брустверов сползла уже во рвы, а остальное разверзлось, развороченное взрывами снарядов, чернело от пожаров, было скользким от крови.

Нужно было спешить добежать до брустверов скорее, чем могли бы добежать до них с той стороны враги, траншеи которых местами тянулись всего в тридцати пяти шагах от рвов. Русским солдатам из блиндажей бежать было дальше, чем французам, они спешили, где перепрыгивая через препятствия, где обегая их; беспорядочные, стремившиеся вперед толпы солдат заполнили площадки укреплений, но... так внезапно оборвавшаяся канонада — это был только хитрый маневр врага, обдуманный на военном совете у Пелисье.

Шестая усиленная бомбардировка была задумана так, чтобы не только разрушить все укрепления русских и совершенно заставить замолчать их артиллерию, но нанести как можно больше потерь и стойким защитникам нестойких верков, если нельзя будет довести их до бегства или до решимости выкинуть белые флаги.

Чуть только там убедились, что удалась хитрость, канонада началась снова.

Горнисты трубили, и барабанщики били отбой прикрытию, и солдаты бежали назад в свои блиндажи, но далеко не все вернулись в них обратно.

Этот хитрый маневр повторялся не один раз; не выходить из блиндажей гарнизону было нельзя, не нести при этом больших потерь — тоже.

Свыше сорока тысяч снарядов было выпущено артиллерией союзников в первый день бомбардировки; более двух тысяч человек насчитано было убитых и раненых в Севастополе.

III

Корабельная и Южная стороны Севастополя были так густо затянуты в этот день белесым пороховым дымом, что прицельной стрельбы по кораблям, стоявшим на Большом рейде, быть не могло, но навесный огонь был так силен, что то и дело высоко вверх фонтанами взбрасывало воду, и вечером, около шести часов, большая бомба ударила в транспорт «Березань».

Этот транспорт стоял у северного берега рейда, рядом с линейными кораблями «Чесма» и «Императрица Мария». Из него сразу же повалил черный дым, — на нем было много горючего. Пожары,

возникавшие часто на судах, матросы обычно тушили ведрами, но это оказалось бессильным против пламени, быстро заливавшего палубу, выбивавшегося из трюма, где горели бочки со смолой и салом и мешки с мукой.

Часам к восьми стало уже ясно, что транспорт обречен. Катеры и лодки засновали около него, принимая экипаж и груз, какой еще можно было спасти. Однако нужно было спастись от огня и линейные суда, соседей «Березани», на которой пылали уже ванты фок-мачты, в то время как под ветром стояла «Мария» и на нее летела густая метель ярких в дыму искр.

Матросы на «Марии» забежали по палубам с ведрами, обливая водой сильно нагретые борта; катеры старались завести якорные цепи, но толстые цепи не поддавались их усилиям долгое время.

Ведро за ведром опускалось в бухту; вода плескала на белые борта, начинавшие уже желтеть и коробиться... Подошли два парохода; с их помощью удалось, наконец, перебить якорные цепи, и, взяв на буксир «Марию», один из них отвел ее дальше от причудливо пылавшей «Березани».

Было уже темно кругом, и совершенно фантастичным казался транспорт, оставленный во власти пламени. Толстые корабельные канаты, свисавшие с его мачт, медленно тлея, окутали его багровым кружевом, в то время как пламя не дошло еще до верхушки мачт. Скручиваясь и брызжа искрами, эти багровые кружева вели себя, как живые, как огненные змеи, опутавшие корабль и расползавшиеся в стороны и вверх.

На берегу Северной стороны толпилось много народа, привлеченного зрелищем пожара в бухте. Было на что поглядеть, однако и очень опасно.

Пожар большого судна ночью не только далеко озарил рейд с остальными кораблями, белые мачты которых четко, как колонны, круглились одна за другой, пойманные замысловатой сетью вантов; не только сделал видными людей на ближних из судов и на самых мелких катерах и лодках в бухте и даже на мосту, который теперь охранялся особым нарядом саперов; пожар этот сделался виден и неприятелю, и сюда, на свет, то и дело стали лететь снаряды и ракеты.

Рейд принял чрезвычайно оживленный вид. На близко подходивших к транспорту «Березань» катерах действовали помпы, стараясь залить пламя, но не имели успеха. Треск, шипенье, облака пара, крики народа, всплески весел, и вновь торжествующее пламя освещало, как это бывает только на заре, тревожным палевым светом белые стены укреплений на северном берегу, и белые борты, и мачты судов... А бомбы и ядра летели и звучно шлепались в воду все чаще и чаще.

Транспорт горел всю ночь и сгорел к утру по медную обшивку на бортах. Кроме этого пожара в бухте, было ночью несколько пожаров и в городе, и разбита была, наконец, бомбой большого калибра телеграфная площадка над библиотекой, так долго остававшаяся невредимой.

Все меньше становилось уцелевшего в городе и кругом него, все больше развалин. Город таял, город превращался в беспорядочно нагроможденный строительный материал для будущего города: не хватило бы только дерева строителям, камня же было довольно.

Лихие фурштаты пытались было и в эту ночь подвезти на бастионы выломанные из разбитых канонадой домов половые доски для починки разбитых орудийных платформ, но проскочить удалось очень немногим: слишком силен был заградительный огонь с неприятельских батарей.

Каждую ночь, кроме туров, фашин, досок и прочего, необходимого для восстановительных работ на бастионах, везли туда и бочки воды; но в эту ночь бомбардировка была ничуть не слабее, чем днем, и воды на укрепления удалось завезти очень мало, в то время как защитники их изнывали от жажды.

Работать под сильнейшим обстрелом было невозможно, — работать было необходимо: укрепления к концу дня перестали уж быть укреплениями, потеряли право так называться, и их одевали вновь, — в который раз? — и при этом гибли сотни людей, потому что восемьдесят мортир стреляли то залпами, то беглым огнем по двум бастионам — Корниловскому и второму; на последнем половина рабочих выбыла из строя в эту ночь... И, однако, даже при таких потерях было сделано все, что можно было сделать по части насыпей: кирки и лопаты действовали безотказно.

Но из двадцати орудий, бывших на втором бастионе, четыре оказались подбитыми дневной канонадой, и почти все остальные обречены были на бездействие из-за порчи платформ и станков, а заменить их новыми ночью не удалось.

Рано утром на бастионах ожидали штурма, и все были готовы к нему, но началась снова такая же жестокая бомбардировка, как и накануне. Возведенные за ночь укрепления рухнули где через час, где через два; правда, их и готовили только для встречи штурмующих колонн, отлично зная, что сопротивляться долго туче снарядов они будут не в состоянии.

В разрушенные амбразуры полетели пули стрелков, таившихся в недалеких уже траншеях, которые успели раздвинуться за ночь. Эти пули выбивали артиллерийскую прислугу тех орудий, которые могли еще отвечать противнику. Одну выбитую до последнего человека смену артиллеристов заменяла другая, другую — третья, и люди знали, что идут на верную гибель, и шли и гибли.

Если бы появился в этот день на Малаховом кургане или на втором бастионе князь Горчаков, то на глупый вопрос, обращенный к простому рядовому пехотного полка: «Сколько вас тут на бастионе?» — едва ли получил бы он знаменитый ответ: «Дня на три должно хватить, ваше сиятельство»

Гарнизон четвертого и пятого отделения линии обороны таял с большой быстротой, и трудно было бы с уверенностью сказать, что хватит его еще на три дня такой невиданной бомбардировки, при том, конечно, непременно условии, чтобы остатки его смогли все-таки отразить штурм.

Но состояние русских верков, представлявших развалины, и полное молчание батарей второго бастиона и всей левой половины Малахова кургана убедили ставшего слишком осторожным Пелисье, что откладывать штурм еще на несколько дней является уже излишним.

Одновременно с Корабельной и Южная сторона яростно громила огонь пятидесяти батарей, включавших в себя триста пятьдесят орудий. Против одного только четвертого бастиона выставлено было сто тридцать орудий, а против пятого на несколько орудий больше.

И здесь, так же как и там, вдруг наступала тревожная тишина,

принимавшаяся за предвестник штурма, орудия поспешно заряжались картечью, подтягивалась полевая артиллерия, спешила пехота прикритий, и на все это вдруг обрушивался ураганный огонь.

Запрещено было уносить раненых на перевязочные пункты, так как это вело только к лишним потерям, и без того огромным. Раненых помещали в блиндажах, где и без них было непроходимо тесно.

Не было не только медиков и сестер, — даже и фельдшеров; перевязывали раны, как и чем могли, ротные цирюльники, а в офицерских блиндажах — офицеры. Но раненые, потерявшие много крови, умоляли дать им воды, а воды не было.

Штурм ожидали с часу на час и его надеялись отбить так же блистательно, как был отбит штурм шестого июня, и тогда по-настоящему и надолго должны были замолчать батареи противника, тогда — отправлять на перевязочный и этих раненых и новых, какие будут, конечно, в большом числе, тогда — новые орудия и станки и платформы, тогда — фашины и туры, тогда — снаряды и порох, тогда — вода.

Но если терпели страшную жажду здоровые солдаты и матросы около орудий, на работах и в блиндажах, то как могли терпеть ее раненые?

И вот, — поразительное зрелище! — многострадальный Малахов курган днем двадцать пятого августа увидел на своей площадке вереницу женщин в платочках; у каждой было коромысло на плечах, каждая несла издалека, от колодцев, по два ведра студеной воды... Это были матроски, услышавшие, что совсем нет воды на бастионах, что раненые терпят мучения и даже умирают от жажды.

Их шло снизу больше, чем пришло на курган: дошло только пять матросок, — остальные погибли. Но рядом с одной из дошедших, широко раскрывая глаза среди грохота взрывов и дыма, шагала ее семилетний сынишка: мать привела его затем, чтобы тяжело раненный муж ее дал ему перед своей смертью «отцовское благословение, навеки нерушимое».

IV

Ночью раненых отправляли все-таки в два перевязочных пункта: с Южной стороны — в Николаевские казармы, с Корабельной — в

Павловские, по тысяче и больше человек в ночь, и тут же начинались на нескольких столах операции и продолжались потом весь день. Но врачи и сестры знали, что минеры подкапывались уже несколько дней под устои этих огромнейших зданий и закатывали в проделанные подкопы бочонки с порохом для взрыва, когда будет получен приказ это сделать.

А что такое взрыв большого количества пороха, они испытали вечером двадцать шестого августа, когда в шаланду, отправленную с Северной стороны с грузом пороха в сто пудов, ударила бомба. Сотрясение воздуха было так велико, что во всем четырехэтажном здании Николаевских казарм сорвало с петель двери, все, кто стоял, мгновенно упали на пол, койки с ранеными, подскочив, передвинулись с мест, а на Графской пристани тяжелое бомбическое орудие, лежавшее на нижней площадке, перебросило на верхнюю, и мраморные статуи разметало в разные стороны.

В тот же вечер загорелся так же точно, как накануне «Березань», фрегат «Коварна», на который незадолго перед тем погрузили двести бочек спирта.

Трудно было понять, зачем приказано было бочки со спиртом и с чиновниками, ведавшими этим казенным имуществом, погрузить на фрегат, но спирт горел так же неукротимо, как смола и сало на «Березани».

В то же время другая зажигательная ракета вонзилась в верхушку огромного подъемного крана, служившего для установки мачт на судах и стоявшего на берегу Доковой балки, и кран этот запылал, как гигантский факел, далеко освещая все окрест, и, как мотыльки, на огонь летели снаряды и в Доковую балку и на рейд.

Двести бочек спирта, горевшие на фрегате, давали какое-то зеленое пламя, и «зеленый змий», клубясь и шипя, принялся яростно обвиваться около мачт, ближе к корме, в то время как с правого борта по трапу сыпались вниз на шаланду матросы с тем, что удалось захватить впопыхах из своего небогатого скарба: кто тащил свой бушлат, кто подушку, кто сундучок, кто подвесную койку, а один, приставленный смотреть за церковными принадлежностями на фрегате, нагрузился образами, кадилом, кропилом и прочей святостью

и, держа все это обеими руками в обхват, пополз по трапу, держась за него лопатками и локтями и каждый момент рискуя очутиться за бортом, но все-таки сполз последним, — сохранил вверенное ему казенное имущество.

А когда отчалила шаланда с матросами, взятая катером на буксир, зеленое пламя потоками полилось из трюма во все люки, побежало по вантам, вверх, выше и выше, создало такую живописную иллюминацию на рейде, что народ, собравшийся на Северной, не мог отвести от нее глаз.

Если пожар «Березани» в предыдущую ночь воспринимался многими только как исключительно несчастный случай, то пожар «Коварны», боевого судна, пожар, которого даже и не тушили, ясно говорил всем, что конец Севастополя уже близок: сотни новых крупнокалиберных мортир, появившихся летом у французов, сделали свое дело.

Глава шестая. Штурм

I

Утро 27 августа (8 сентября) было мглистое, ветреное.

Сильный ветер, волнуя воду Большого рейда, дул в сторону неприятельских батарей против Корабельной и нес туда облака пыли и дыма, под покровом которых там усердно готовились к штурму, назначенному главным командованием на этот именно день.

Там передвигались колонны корпуса Боске, чтобы занять в параллелях и на площадях между контрапрошей исходные для штурма позиции, а когда позиции эти были заняты, войскам читали приказ их корпусного командира:

«Солдаты второго корпуса и резерва! 7 июня (26 мая по ст. ст.) вам досталась честь нанести первые удары в сердце русской армии. 4/16 августа вы восторжествовали над вспомогательными силами русских. Сегодня ваша рука нанесет русским последний смертельный удар, исторгая у них линию верков, обороняющих Малахов, между тем как наши товарищи англичане и 1-й корпус произведут атаку Большого редана и центрального (пятого) бастиона. Это будет один всеобщий

приступ армии против армии! Это будет долгопамятная победа, которая увенчает юных орлов Франции! Ребята, вперед! Малахов и Севастополь — наши, и да здравствует император!»

Получив назначение руководить штурмом, Боске проявил большую деятельность. Он распределил свои войска по отдельным участкам атаки: дивизия генерала Дюлака должна была двинуться на Малый редан (второй бастион); одновременно с нею дивизии де-Ламотт-Ружа предоставлялась честь захватить куртину, соединяющую этот бастион с Малаховым, и, наконец, дивизия Мак-Магона, имея в резерве бригаду генерала Вимпфена и два батальона гвардейских зуавов, должна была совершить то, что особенно подчеркивалось в приказе, — занять Малахов — ключ всей оборонительной линии Севастополя.

Резервом для дивизии генерала Дюлака были: бригада генерала Маролля и батальон гвардейских стрелков, а общий резерв состоял исключительно из гвардейских частей, расположившихся близ бывшей Камчатки.

Эти гвардейцы должны были, по плану Боске, двинуться для решительного удара плотными колоннами, а чтобы идти они могли, как на параде, для них между траншеями устроено было сообщение шириною ровно в сорок метров.

Шесть легких батарей, назначенных для поддержки пехоты, получили приказ воспользоваться тем же путем, какой приготовлен был резерву.

Наконец, несколько небольших, по шестьдесят человек, отрядов саперов с лестницами и лопатами должны были идти впереди штурмующих колонн, чтобы подготовить им свободный проход через рвы, волчьи ямы, траншеи, большие воронки...

Что же касается штурма Малахова, то французские минеры, роясь давно уже на порядочной глубине, вели галерею под бруствер, и работы их были уже закончены, — они ждали только приказа произвести взрыв, который сбросил бы в ров на большом протяжении насыпь, наполовину уже разрушенную бомбардировкой, и тем уничтожил бы последнее препятствие для штурмующих.

Канонада в этот день началась, как всегда, в пять утра, хотя и нельзя уж, пожалуй, сказать «началась», так как она не прекращалась всю

ночь. Она только усилилась вдруг необычайно, значительно перекрыв по силе огня канонаду трех предыдущих дней. Это заметили в первые же полчаса солдаты, пережившие бомбардировку 24, 25 и 26 августа, и говорили:

— Ого! Что-то очень уж крепко бьют нынче!

Заметно было и то, что огонь направлялся исключительно по укреплениям: он не рассеивался теперь, — цели его были определенные.

Под прикрытием этого огня шли передвижения больших масс войск как у французов, так и у англичан, и передвижения эти были замечены с Северной стороны.

Обеспокоенный этим генерал Липранди обратился к Коцебу:

— Павел Евстафьевич! Они готовятся к штурму, — это ясно!

Но маленький Коцебу отнесся к тревоге Липранди с большим спокойствием.

Он ответил:

— Во сне, должно быть, вы увидели штурм.

Один из батарейных командиров разглядел, как французские колонны идут по направлению к Корабельной от редута «Виктория», и счел нужным немедленно послать казака в главный штаб с донесением об этом.

Казак помчался во весь дух: он и без приказа лейтенанта, его пославшего, понимал, что везет бумагу первой важности.

Примчавшись к главной квартире, он увидел начальника штаба, который прогуливался около дома, где жил вместе с Горчаковым.

— Что такое, братец? — недовольно спросил его Коцебу.

— Донесение их благородия, лейтенанта Барановского, — поспешил, чтобы ни секунды не потерять, отпрапортовать казак и подал бумажку.

Коцебу заглянул в нее, сунул ее в карман и пошел не в дом, с докладом главнокомандующему, что готовится штурм, а прогуливаться дальше.

Казак ждал удивленный. Коцебу заметил это, когда возвращался, совершая свой моцион.

— Что ты торчишь, братец? — спросил он недовольно.

— Какой будет ответ, я жду, ваше превосходительство...

— Э-э, ответ!.. Отправляйся себе на свое место!

Казак поскакал; Коцебу продолжал прогуливаться. Он был удручен тем, что доложили ему еще накануне: его племяннику, офицеру, оторвало по колено ногу на четвертом бастионе. Это семейное горе притупило в нем на время способность живо отзываться на события большого исторического значения, — так часто бывает это с людьми, стоящими на высоких постах. Прогуливаясь в одиночестве, он думал о бренности всего земного, не замечая уже и того, что канонада там, против Корабельной и Южной, почему-то значительно сильнее, чем была накануне утром.

Правда, штурм так долго ждали, каждый день и даже по несколько раз в день, обманываясь в своих ожиданиях, что острая бдительность вполне могла уступить свое место равнодушию даже и у тех, кто ведал участками оборонительной линии, не только у Коцебу, глядевшего на зрелище артиллерийского непрерывного боя издали, видевшего только сплошной занавес плотного белого дыма и слышавшего только грохот двух тысяч орудий, грохот, не умолкающий на сколько-нибудь продолжительное время весь август.

Кроме того, он считал себя не ответственным за все, что делалось, так как делалось все именем князя Горчакова; наконец, ему казалось, что для встречи штурмующих отправлены были достаточные силы, а как распорядятся этими силами генералы на линии обороны, это уж касалось их, а не его, — Хрулева на Корабельной стороне и Семякина на Южной, причем у первого считалось гарнизона двадцать три тысячи человек, у второго — семнадцать тысяч, и на отделениях начальниками войск были у них не новички, а тоже опытные генералы: Хрущов и Шульц — у Семякина; Сабашинский, Павлов и Буссау — у Хрулева.

А между тем Коцебу знал, конечно, из донесений, что потери гарнизона за три дня бомбардировки, считая с 24-го числа, были огромны, более семи с половиной тысяч; что за эти дни подбито на бастионах и батареях и почти не заменено девяносто орудий и сто тринадцать станков; что к утру этого, четвертого, дня усиленной бомбардировки на фронте Малахова кургана сохранилось в целости всего только восемь, а на всем втором бастионе — шесть орудий...

Странно было бы думать, чтобы они могли долго сопротивляться ураганному огню направленных против них двухсот орудий французов.

Он знал и то, что старания Тотлебена минировать Малахов были сорваны взрывом шаланды, везшей сто пудов пороха: этот порох как раз и назначался для заряжения пяти камер, выдолбленных минерами в скалистом грунте.

Так как решение взорвать второй бастион в случае штурма и перенести защиту в ретраншементы было принято Горчаковым еще 15 августа, то порох туда приказано было доставить заблаговременно, однако неподатливая скала долго сопротивлялась минным работам, тем более что производить их приходилось под жестоким обстрелом.

В команде инженер-поручика Фролова, ведшего эти работы, было тридцать пять человек; к концу работ из них осталось только шестеро, но двенадцать мин под бруствером были заложены и готовы к вечеру 25 августа.

Порох, правда, не был доставлен и сюда, как и на Малахов: вторая шаланда затонула при взрыве пороха. Решено было израсходовать для заряжения мин порох орудийных зарядов, праздно лежавших в погребах, так как орудия были подбиты.

Под сильнейшим огнем противника герои-минеры сами переносили заряды из погребов в минные колодцы, и были случаи, когда коварная ноша эта взрывалась в их руках, убивая их на месте. Но все-таки не только мины были заряжены, но и в пороховом погребе и в бомбохранилище положены были гальванические запалы, а проводники к ним выведены были за вторую линию укреплений.

Но если на Малаховом, при отсутствии пороха, мало что удалось сделать русским минерам, зато французские в восемь утра взорвали три горна, на большую помощь которых делу штурма надеялся Боске. Этот взрыв явился последним штрихом в картине подготовки штурма, сделанной кропотливо, с точнейшим выполнением всех правил осады крепостей. От взрыва горнов образовались воронки в четыре сажени в диаметре, и часть бруствера, как раз против башни, грузно обрушилась в ров, открыв, с одной стороны, площадку бастиона и уничтожив, с другой, серьезное препятствие для атакующих.

Часа через два после этого взрыва подоспел, наконец, порох, отправленный на Малахов для заряжения мин. Нельзя не изумиться тому, как безвестные фурштаты проскочили с такой поклажей сквозь тучу снарядов. Они везли верную свою гибель, но привезли все же; однако подвиг их был уже напрасен. Как раз в это время бомба ударила в небольшой погреб, где находилось полсотни гранат, и взорвала их. Привезенный порох поспешили убрать в надежное место, тем более что уже засыпаны были минные колодцы и их приходилось откапывать под бешеным огнем.

К одиннадцати часам дня картина разрушения на Малаховом была полная: срезанные насыпи, заваленные рвы, подбитые орудия, корчившиеся в окровавленной пыли раненые, которых никто не подбирал, тела убитых, куски и клочья человеческих тел... То же самое было и на втором бастионе и на куртине, соединяющей этот бастион с Малаховым.

В одиннадцать канонада вдруг прекратилась, как это бывало часто и раньше. Явилась возможность произвести подсчет потерям этого дня. Они оказались громадны: две тысячи человек выхватила бомбардировка, длившаяся только шесть часов. Но за эти шесть часов, как выяснилось потом, было брошено на русские укрепления тридцать тысяч снарядов, половина которых были гранаты и бомбы. В предыдущие три дня батареи союзников выпускали только по сорока тысяч снарядов в день, теперь же они утроили свою энергию.

Такая чрезмерная сила огня могла, конечно, навести многих в русских укреплениях на мысль, что штурм должен быть близок уже, однако подобные мысли возникали не один раз и раньше у всех, но оказывались пустыми.

Многие, например, уверены были, что французы изберут днем штурма 26 августа (7 сентября), как день Бородинской битвы; и генерал Сабашинский у себя на втором бастионе целый день поддерживал настроение войск именно тем, что им удастся напомнить французам Бородино.

Но Пелисье решил пожертвовать эффектным сопоставлением крупных исторических дат: 7 сентября 1812 года — Бородинский бой, 7 сентября 1855 года — штурм Севастополя. Ему хотелось усыпить

бдительность русских, тоже склонных, конечно, вспоминать дни своих побед. Штурм назначен был им ровно в двенадцать часов дня, причем всякие сигналы к штурму решительно были им отменены, чтобы не вносить никакой путаницы в ряды атакующих и не давать ни одной минуты на подготовку отражения штурма русским войскам.

II

Кажется, сделано было французским командованием все, чтобы штурм был молниеносен, удачен и обошелся бы без больших жертв, но даже за полчаса до начала штурма оно не решилось пренебречь еще одною мерой усыпить бдительность русских: в половине двенадцатого вновь был открыт ураганный огонь, чтобы загнать в блиндажи гарнизон укреплений, вышедший было поразмяться.

Между тем под прикрытием этого огня в траншеях французов делались последние приготовления... О, конечно, Пелисье и Боске гораздо лучше Горчакова с его штабом знали, как надобно готовить штурм укреплённых позиций! Передовые части колонн, назначенных для штурма, были не за полверсты, не под горою, не за каналом, не за речкой, как русские полки 4/16 августа, а всего только в тридцати шагах от бруствера — бывшего бруствера!

Что стоило первому полку зуавов пробежать тридцать шагов, когда ровно в полдень вновь прекратилась бомбардировка? Задние шеренги едва успели докричать свой воинственный клич: « Vive l'empereur! » — как передние были уже на Малаховом.

Полдень, по сохранявшемуся даже при усиленной бомбардировке порядку, был временем отдыха и обеда. Когда-нибудь нужно же было и подкреплять силы бойцов. И в этот день, как обычно, поверив полуденному затишью, солдаты, приткнувшись около закрытий, начали было обедать, а генерал-майор Буссау, чрезмерно грузный и потому расстегнувший все крючки и пуговицы кителя и рубашки, вздумал около своего блиндажа раздавать георгиевские кресты по списку, заготовленному заранее.

Эти кресты для отличившихся солдат были привезены от Горчакова флигель-адъютантом Воейковым, который в это время сидел в блиндаже командира Корниловского бастиона капитан-лейтенанта

Карпова, укрываясь от пыли, густой и зловонной, поднятой сильным ветром.

Ветер этот поднял большое волнение и в море, помешав этим союзному флоту прийти на помощь штурмующим, но он же, дуя прямо в лицо французам и развевая полы их синих мундиров, казалось, окрылял их. Крича до хрипоты «Vive l'empereur!» и усиленно загребая ногами, они шли, наклонив головы, неудержимым потоком, — неудержимым потому, что и нечем их было удержать: орудия Малахова были приведены в негодность и вынуждены были к молчанию.

На фронте Малахова стоял в это время Модлинский полк однобатальонного состава, — всего только четыреста человек, — но никто в нем не ожидал штурма и не был готов его встретить, а на Малахов шла густою массой целая дивизия Мак-Магона, шесть тысяч штыков.

Правда, считалось, что есть еще в наличности несколько сот человек артиллеристов, теперь уже безработных, и ополченцев одной из курских дружин, но они были не собраны, разбросаны кто где, а следом за первым полком зуавов на Малаховом появились уже и первые роты седьмого линейного полка французов.

Они действовали стремительно, не сомневаясь в успехе. Их саперы тут же принялись засыпать рвы, где они еще зияли, сбрасывая в них лопатами остатки брустверов, и не больше как в три минуты готов был свободный проход для частей, бежавших за седьмым полком.

Крича: «Штурм! Штурм!», модлинцы бросились в штыки на зуавов. Строиться было уж некогда и незачем: французы окружили кучи русских солдат со всех сторон, и началась рукопашная схватка. Она была жестокой, но продолжительной быть не могла. Заколоты были штыками зуавов и командир модлинцев, полковник Аршеневский, и командир батальона, майор Кованько, и почти все офицеры. Погибли в неравном бою, хотя и дорого отдав свои жизни, модлинцы-солдаты.

Толстый Буссау, не вовремя начавший раздачу крестов команде модлинцев, приведенной к нему поручиком Юни, растерявшись, успел только крикнуть: «В башню! В башню!» — показать на башню рукой, как рука эта была прострелена пулей, и эта ли пуля, другая ли убила

наповал стоявшего с ним рядом его адъютанта.

Поручик Юни действительно бросился к дверям башни с несколькими из своей команды, сам же Буссау был схвачен, — он попал в плен, а на башне знаменитого кургана, который он должен был защищать, воткнули между мешков с землей трехцветное французское знамя.

Все это совершилось в несколько минут, и французы, заполняя площадку бастиона огромными толпами, не давали опомниться ни артиллерийской прислуге, ни ополченцам, которые пробовали отбиваться от них, одни банниками, другие — топорами: штыки и пули превозмогли.

Кроме генерала Буссау, ответственность за Малахов курган нес и начальник четвертого отделения оборонительной линии капитан-лейтенант Карпов. Выскочив вместе с Воейковым из своего блиндажа, Карпов сразу увидел, конечно, что Малахова он не уберег.

Это был храбрый моряк и заботливый хозяин бастиона и прилегающих к нему батарей Жерве и Панфилова. Еще 25 августа писал он в Главную квартиру, что курган невозможно будет защищать, если не пришлют большого числа рабочих и артиллеристов к орудиям. Он предсказывал, что если не пришлют рабочих и артиллерийской прислуги в нужном числе, то не позже как через день все четвертое отделение будет захвачено без боя, так как защищать его будет нечем и нечем.

Он чередовался на этом отделении с капитаном 1-го ранга Керном понедельно, и теперь как раз выпала его неделя.

Рабочих и артиллеристов ему прислали, но канонада 26 августа была так жестока, что все произведенные за ночь работы были уничтожены за час бомбардировки, артиллеристы же частью были перебиты, частью стали уже ненужны, так как орудия были приведены в негодность.

Воейков появился на Малаховом в те самые полчаса затишья, которые оказались тонко рассчитанной хитростью союзников, и Карпов повел флигель-адъютанта, гостя из Петербурга, по стенке укрепления, чтобы показать ему, в каком виде теперь то, что по-прежнему считается бастионом.

— Вот, видите, — говорил он, — это мерлон — насыпь между

амбразурами... Следите, пожалуйста, как он поползет, когда я сделаю вот что...

И, став на банкет, Карпов уперся в мерлон плечом.

— Перестаньте, что вы! — испуганно вскрикнул Воейков. — Он обрушится в ров!

— Ползет! Вот видите! Что же это за препятствие при штурме?

Карпов был крепыш, и Воейкову, длиннолицему, узкогрудому человеку, действительно стало страшно тогда и за укрепления, и за гарнизон, который в них верит, и за себя самого.

— Выходит, что вся надежда на один только гарнизон, — сказал он, — а гарнизон недостаточен...

— А гарнизон совершенно недостаточен! — повторил Карпов. — Так и передайте, пожалуйста, князю! Я еще часа два назад обратился по этому поводу к генералу Хрулеву, но от него до сих пор нет ответа.

Как раз в это время разглядел он поспешно шедшего к нему Витю Зарубина и добавил оживленно:

— Наконец-то, вот его ординарец!

Витя доложил Карпову, что подкрепление непременно прислано будет.

— Будет? Очень хорошо, но когда же именно будет, хотел бы я знать?

— спросил Карпов, и Витя, чтобы успокоить начальника Малахова кургана, стоявшего рядом с флигель-адъютантом, ответил быстро и решительно:

— Не больше как через час.

Карпов был действительно успокоен этим, хотя Хрулев, посылая Витю, буркнул сквозь дремоту весьма неопределенно: «Передай, черт его дери, что скоро пришлю!»

Хрулев ждал штурма непременно в это утро, на рассвете, поэтому все время с полночи провел на линии обороны, а при нем, конечно, пришлось находиться и Вите.

Как раз в эту ночь за горжей Малахова загорелся от ракеты склад сухого хвороста. Поднялось сильное пламя, и Малахов был так освещен, что по нем не только штуцерники, но и орудия стреляли прицельным огнем. Потери в рядах рабочих, исправлявших амбразуры, были огромны; во что бы то ни стало надо было потушить пламя.

Две роты Севского полка под руководством саперного поручика Орды потушили пожар, но потеряли при этом почти половину людей. Хрулев же уехал к себе в Павловские казармы только часов в шесть утра, когда убедился, что штурм в это утро не будет: по-прежнему гремела канонада...

Приехав к себе, он тут же лег спать. Хотел было заснуть и Витя, но не мог, а в десять часов явился посланный Карповым ординарец с требованием подкрепления. Теперь Вите неодолимо хотелось спать, — приткнуться где-нибудь хотя бы на пять минут, — он едва стоял, когда говорил с Карповым. От него он пошел не к своей лошади, оставленной у горжи, а прямо к недалекой и хорошо знакомой ему башне, где всегда кто-нибудь был, где можно было лечь на чью-нибудь койку и попросить, чтобы разбудили минут через пять-шесть, чтобы можно было беспрепятственно уйти с кургана до начала новой бомбардировки.

Он лег на койку флотского кондуктора Венецкого, хорошо ему знакомого, но о том, чтобы его разбудить через пять-шесть минут, сказал так полусонно-невнятно, что Венецкий не расслышал, а вскоре началась бомбардировка, совершенно неурочная, и Витя проснулся только тогда, когда Венецкий и другой кондуктор Дубинин толкали его, крича:

— Штурм! Штурм!

Витя вскочил мгновенно и кинулся было к двери, но увидел, как мимо двери бежали, штыки наперевес, зуавы в красных чалмах и расшитых шнурками коротких синих куртках, а спустя минуту у двери оказались модлинцы, только что ставшие георгиевскими кавалерами, и поручик Юни закричал в дверь:

— Отворяй! Эй! Отворяй!

Витя отворил им сам запертую было кондуктором Дубининым тяжелую дверь.

III

Когда началась новая канонада, — последняя перед штурмом, — Карпов увел ротмистра Воейкова в свой блиндаж, чтобы тот зря не подвергался опасности. Тут, между прочим, матрос-вестовой подал

ему обед, и, наскоро пообедав, Карпов написал докладную записку главнокомандующему, в какое плачевное состояние пришел Малахов. Воейков только успел спрятать эту записку в карман, как канонада неожиданно оборвалась.

— Что бы это могло значить такое? — спросил он Карпова, но тот же матрос, который подавал обед, стремительно ворвавшись в блиндаж начальника отделения, закричал вне всяких правил:

— Французы идут! Французы!

— Что? Штурм? Вот как! — спокойно удивился Карпов, вставая, а Воейкову, который смотрел на него изумленно, не поднимаясь с места, сказал уже начальническим тоном: — Идите сейчас же к горже! Может быть, пробьетесь еще! Не медлите!

И тут же сам выскочил из блиндажа наружу.

Опасность разъединила мгновенно двух только что мирно беседовавших — капитан-лейтенанта и ротмистра. Один кричал:

— Барабанщик где? Барабанщика сюда! Бить тревогу!

Другой же, обнажив саблю, зашагал, все убыстряя шаг, по направлению к горлу бастиона.

А бородатые зуавы между тем где сидели уже на бруствере и стреляли вдоль площадки, где заклепывали орудия, где бежали вперед небольшими пока еще кучками.

Барабанщик начал было бить тревогу, но был ранен пулей в голову, и тревогу протрубил горнист, однако это была уже запоздалая проформа: обедавшие и отдыхавшие люди выскакивали повсюду из блиндажей и без сигналов, но орудия были уже захвачены противником, но пестрые толпы зуавов бежали уже от Корниловского бастиона в сторону батареи лейтенанта Панфилова, а другие — к батарее Жерве, растекались, как вода, хлынувшая через прорванную плотину.

Начальник артиллерии Малахова кургана, лейтенант Лазарев, держась рукой за живот, прошел мимо Карпова; тот понял, что лейтенант ранен пулей в живот, но не понимал, откуда у него силы идти.

В стороне, на глазах Карпова, произошла очень короткая, но жестокая схватка французов с модлинцами, когда были убиты Аршеневский, Кованько и другие... Человек шестьдесят модлинцев все-таки уцелели,

но отступали прямо на него.

Тогда Карпов, махая кортиком, что было силы закричал:

— Сто-ой! Стой, бра-атцы! — и побежал наперерез, чтобы очутиться впереди пятившихся под натиском большой толпы французов модлинцев, но тут его ударили прикладом по голове, и он потерял сознание и упал, и несколько французов прошли по нем, как по мертвому.

Однако он был жив. Когда французы пробежали дальше, к ретраншементу, трое модлинцев подошли к нему вместе с его вестовым, матросом, и отнесли в его же блиндаж.

Небольшая кучка французов повернула было за ними, но солдаты стали отстреливаться из блиндажа. Карпов не слышал этой перестрелки, он все еще был без сознания, очнулся же от зычного «ура» около дверей блиндажа и топота многих ног: это шел в атаку на французов Прагский полк той же 15-й резервной дивизии, одной бригады с Модлинским полком.

Прагский полк, — всего около пятисот человек, — сильно ударил на французов и погнал было их назад, к брустверу; даже батарея Панфилова была очищена и захвачена обратно этим полком, к которому пристали последние модлинцы, но несколько батальонов французов, обогнув укрепление с левой стороны, появились у них в тылу и окружили их.

Левую сторону Малахова защищал третий полк той же дивизии — Замосцкий, тоже немногочисленный, между тем как уже большая часть отряда Мак-Магона успела появиться на кургане.

Рукопашный бой был жестокий. Прагские пробивались штыками к замосцким, замосцские к прагским. Когда же удалось соединиться остаткам всех трех полков, составлявших гарнизон Малахова, они, перемешавшись между собой, но одинаково не хотевшие уступать многочисленному противнику, начали пробиваться назад к ретраншементу.

И кто не пал в этом неравном бою, те все-таки пробились, и дорого обошелся французам этот бой.

Очнувшись, Карпов, хотя и с сильной болью в голове и во всем измятом теле, выскочил из блиндажа, думая, что выбиты французы

подоспевшими полками; но те зуавы, которые вели перестрелку с солдатами-модлинцами, спасшими Карпова, сидели здесь за прикрытием, шестеро кинулись на него со штыками.

Карпов приготовился уже к смерти, но два французских офицера, бывших поблизости, приказали зуавам опустить штыки: Карпов, начальник четвертого отделения, попал в плен так же, как незадолго перед тем раненый начальник гарнизона этого отделения, генерал Буссау.

Попали в плен и Лазарев, начальник артиллерии, благодаря своей ране в живот, и отличившийся накануне при тушении пожара саперный подпоручик Орда, и командир батареи своего имени лейтенант Панфилов, и много других офицеров.

Но когда уже весь Малахов был занят дивизией Мак-Магона, когда трехцветный французский флаг развевался на башне, все-таки из башни сквозь узкие бойницы в дверях раздавалась стрельба.

Стрелки из башни били, конечно, без промаха и на выбор, и против дверей башни валялось много тел, — и пехотинцы линейных полков, и зуавы, и алжирские арабы в белых окровавленных бурнусах.

— Выкурить их дымом! — приказал Мак-Магон, когда ему доложили о русских, засевших в башне.

Выкуривать дымом арабов из их пещер было принято французами в Алжире, и для зуавов это было знакомым делом. Они тут же натащили сухого хвороста, остатков фашин и туров и подожгли его. Костер разгорелся жарко, но густой дым привлек внимание Боске, находившегося недалеко от Малахова, в одной из траншей. Он опасался, что сильный огонь может вызвать взрыв какого-нибудь потаенного порохового погреба, и те же, кто разводил костер, принялись его тушить и растаскивать хворост.

А выстрелы из башни между тем продолжали греметь, хотя весь Малахов был уже во власти французов. Матросы, бывшие в башне, — всего пять человек, — отыскиали там длинные абордажные пики и с этим оружием стали в арке, защищенные стеной от пуль французских стрелков. Несколько смельчаков-зуавов, слишком близко подобравшихся ко входу в башню, были проткнуты пиками...

Генерал Буссау, когда кричал модлинцам: «В башню! В башню!» —

имел в виду то, что в башне находился склад снарядов, который нельзя было отдавать французам. Но, кроме снарядов, там было и несколько ящиков ружейных патронов, и теперь как раз в центре расположения французских войск на Малаховом гремела весьма яростная перестрелка.

Укрываясь за кучами трупов, снайперы-зуавы стремились попасть в узкие бойницы, откуда выставлялись ружейные дула модлинцев, и больше десяти человек в башне были ранены рикошетными пулями, и не одна уже рубаха бойцов пошла на перевязку ран.

Но никто там, однако, не падал духом. Кроме Юни и Вити Зарубина, там были еще молодые офицеры — подпоручики Данильченко и Игнатьев. Витя же уверял всех, что вот-вот его генерал Хрулев двинет французов так, что посыплются они с Малахова, как груши.

Все тюфяки и подушки были подтащены к дверям, чтобы заложить ими бойницы, слишком широкие для ружейных стволов. В башне стало гораздо темнее, зато безопаснее.

Но вот закипела какая-то работа над головой осажденных: там что-то ворочали и бросали, там толкались сотни ног...

— Потолок хотят разобрать! — догадался Витя.

— Ду-ра-ки! — искреннейшим тоном отозвался на это один матрос. — Статочное дело — потолок такой разбирать! Что же у них начальства нет, что ли?

И все весело захохотали.

Затея с разборкой потолка была действительно так же скоро оставлена, как и затея с костром по-алжирски. А патронов в ящиках было еще довольно, и стрельба продолжалась.

IV

Дивизия Дюлака — семь с половиной тысяч человек — двинулась на Малый редан — второй бастион — в одно время с дивизией Мак-Магона, штурмовавшей Малахов, и второй бастион так же, если не больше, разрушен был, как и Малахов, но дело здесь обернулось для французов совсем иначе.

На втором бастионе так же обедали в это время люди, как и на Малаховом, и даже сам начальник гарнизона генерал Сабашинский

расположился за столом в своем блиндаже, чтобы подкрепить силы. Так мало ждали здесь штурма, что Сабашинский рассуждал с присланным к нему от Хрулева капитаном Черняевым о том, не заменить ли усталую 8-ю дивизию, охранявшую этот бастион, свежей 4-й.

Хрулев думал, что это еще вполне возможно сделать с наступлением темноты, — до того был уверен он, что штурма не будет. Вообще же, после того как Карпов прислал к нему за подкреплением, он хотя и чертыхался часто, но, бросив надежду выспаться, принялся действовать энергично.

В разные стороны разослал он своих адъютантов и ординарцев: одного — к князю Васильчикову просить подкрепления для Малахова, другого — Витю Зарубина — к Карпову, третьего — к Сабашинскому... На столе перед Сабашинским и Черняевым, которого бравый генерал угощал обедом, вкусно дымился горячий солдатский борщ в оловянном судке, оставалось только разлить его по тарелкам; Сабашинский только что сказал решительно:

— Нет-с, так и передайте Степану Александровичу, что с восьмой дивизией я не расстанусь... Пока Урусов лежит больной, я уж успел к ней привыкнуть и меня уж от нее не отдерешь и клещами!.. А если решат все-таки снять восьмую дивизию отсюда, то пусть уж и меня снимают!

Вдруг за дверями блиндажа раздалась резкая барабанная дробь тревоги. Сабашинский схватил свой костыль и кинулся наружу, за ним Черняев.

Уцелевшие от смерти или плена модлинцы говорили вечером в этот злосчастный для них день:

— Серняка об подошву скорей не зажгешь, как француза к нам наскочило тьма!

Между тем много ли времени нужно, чтобы зажечь серную спичку по солдатскому способу, чиркая ее о подошву? Два-три мгновения. Однако и этих двух-трех мгновений не дали передовые части дивизии Мак-Магона гарнизону Малахова.

Дивизия Дюлака опоздала в своем движении не на два-три мгновения, а, может быть, на две-три минуты: дробь тревоги уже успела поднять

на ноги весь гарнизон второго бастиона, когда французы добежали до вала.

Две роты Олонецкого полка, — всего сто тридцать человек, — стоявшие в это время на банкете, не успели, правда, разрядить свои ружья по бежавшим на них передовым нескольким стам французов, но зато они выставили против них штыки.

Эти две роты погибли, окруженные со всех сторон, но несколько минут они бились штыками, — один против пяти-шести, а за это короткое время успел построиться батальон забалканцев и кинулся на противника.

Французы заклепывали орудия вдоль стенки, — они действовали быстро и точно. Их саперы перекидывали лестницы через рвы, засыпали воронки и волчьи ямы, готовя проходы сплошным колоннам, которые шли стремительно.

Однако не менее стремительно действовал и Сабашинский.

Он забыл о своей больной ноге, — или нога его забыла о своей боли, — он размахивал костылем, как саблей, подходя к другому батальону забалканцев и крича:

— Барабанщики! Бей атаку!

Он, сочинитель веселых солдатских песен, любимец солдат и офицеров своей части, бравый вояка, держа все тот же костыль в правой руке и показывая им на французов, командовал, точно запевал песню:

— Вперед, молодцы, за мно-ой!

Это «за мной!» не только для забалканцев скомандовал он: он видел, что спешит следом весь Кременчугский полк, а вправо от него Белозерский, где впереди шел майор Ярошевич и барабанщик рядом с ним работал своими белыми палками так лихо, что его было слышно и сквозь встречные выстрелы французов.

Дружный натиск нескольких батальонов сразу спас бастион: французы не выдержали и бежали после короткой схватки, оставив в руках забалканцев и кременчугцев пленными одних только офицеров до тридцати человек, — среди них командира линейного полка Дюпюи и начальника штаба дивизии Дюлака — полковника Маньяна. Отомщено было и за гибель двух рот Олонецкого полка: человек полтора

французов легли на месте.

Орудия костылем и покрикивая, Сабашинский с возможной быстротой расставил свой гарнизон в шесть шеренг по банкетам, полагая, что это далеко еще не конец штурма.

Задние шеренги заряжали ружья и передавали передним, те стреляли безостановочно. Стреляли также и две небольших медных мортирки, которых случайно не заклепали французы, может быть, не придав им никакой цены. Однако мортирки эти — «собачки», как их называли солдаты, лаяли исправно, и картечь их летела в густые колонны главных сил, шедших снова на приступ шагов с двухсот.

Лестницы, положенные и поставленные французскими саперами, остались на своих местах, все подступы к бастиону были изведаны, и вот ринулись французы на вал теперь уже обеими бригадами сразу.

Храбро вел первую бригаду генерал Сен-Поль, но был убит пулей; едва не взобрался на вал командир второй бригады, генерал Биссон, но ударом штыка был опрокинут в ров, раненный в левый бок.

Курские ополченцы, сорок восьмая Белгородская дружина тоже работала на валу топорами, осаживая слишком рьяных французов, а часть ее с прапорщиком Черноглазовым, под сильнейшим ружейным огнем, восемь раз металась к пороховому погребу и обратно, поднося патроны шеренгам стрелков.

Сабашинский не зря не хотел менять состав своего гарнизона, несмотря на усталость солдат и офицеров: у него всякий заранее знал, что ему делать во время штурма, и это сказалось в той быстроте, с какой люди стали в ружье по первой тревоге, по тому порядку, в каком они шли под барабанный бой отражать штурм.

А штурм этот, нужно сказать, был самый трезвый из всех штурмов союзников: пьяных не замечалось даже и среди зуавов. На этот штурм всем приказано было одеться, как на парад. И офицеры и солдаты были в новых мундирах и с орденами, с медалями. Это придавало особую торжественность последнему штурму Севастополя.

Но все торжественно шествовавшие на штурм колонны дивизии Дюлака поспешно отступали теперь, после второго приступа, а на смену им шла резервная бригада генерала Маролля.

Эта бригада шла шестью колоннами: три из них ударили в лоб второго

бастиона, но другие три обошли его слева, со стороны занятого уже прочно Малахова. Они прошли по стенке куртины, где в начале штурма смяты были дивизией де Ламотт-Ружа части Олонецкого и Муромского полков, и атаковали защитников второго бастиона с фланга в то время, как прочие колонны, теряя много людей от ружейного огня, храбро лезли на вал спереди.

Была минута, когда смертельная опасность предстала перед самим Сабашинским в лице молодого офицера-зуава с четырьмя рядовыми. В одной руке этого офицера был камень, в другой пистолет. Он выстрелил, целясь в голову, — пуля просвистела мимо уха Сабашинского; тут же левой рукой он пустил в него камнем, но тоже промахнулся.

На это потребовалось всего два мгновения, а в третье раздались выстрелы сзади Сабашинского. Пули русских солдат оказались вернее: офицер-зуав и один из рядовых зуавов упали к ногам Сабашинского, остальные трое скатились с вала в ров.

Жестокий бой кипел и на валу и около него, так как и сам Маролль и другой генерал, бывший в его бригаде, — Понтеве, считались во французской армии храбрейшими из храбрых, а где храбрые генералы, там нигде и никогда не пожелают уступить им в этом солдаты.

Но постояли за себя кременчугцы, забалканцы, белозерцы!

Генерала Маролля французы нашли только на другой день во рву: его тело было сплошь исколото штыками, и груда тел придавила его к самому дну. Понтеве тоже был ранен смертельно и скоро умер.

Во рву, на трупах своих товарищей, оставалось еще довольно французов в то время, когда другие уже отступили поспешно, но стрелять в них было неудобно. Разгоряченный схваткой, которая развернулась на его глазах, Сабашинский кричал:

— Как собак их камнями, братцы! Как собак!

И в ров полетели камни, осколки гранат, ядра... Французы не вынесли этого и бежали, попадая при этом под картечь «собачек» и пули.

Поражение дивизии Дюлака и резервной бригады Маролля было полным, однако еще два раза ходили на приступ французы, справедливо полагая, что число защитников совершенно

разрушенного и с заклепанными орудиями бастиона все тает и тает. Окончательно же пыл их угас, когда резервы их стали тоже таять от огня трех русских пароходов, подошедших к Килен-бухте. Это были «Владимир», «Херсонес» и «Одесса».

Синие мундиры и красные штаны французов, убитых и тяжело раненных, расцвели всю площадь перед вторым бастионом вплоть до первого плацдарма, находившегося метрах в ста от вала и дальше. Даже сам Сабашинский, стоявший на валу и утиравший поистине трудовой пот платком, изумленно глядел на эту страшную картину побоища и говорил капитану Черняеву, который провел все время ожесточенных пяти штурмов на втором бастионе:

— Ну, знаете ли, батенька мой, сколько лет живу на свете, никогда ничего не видал подобного!

V

Малый редан отбил французов блестяще, вписав этим одну из славных страниц в историю севастопольской обороны; а на Большой редан — третий бастион — пошел штурмом его старый, испытанный с самого начала осады враг — англичане.

Наконец-то пришло для них время сломить этот упорный и грозный «честный» бастион, который один двенадцать почти месяцев истощал усилия целой Англии! Этого дня ждал с величайшим нетерпением Лондон, этого дня ждал в Константинополе всемогущий там посланник Англии лорд Редклиф, обещавший, как уверяли знатоки этого дела, даже руку своей дочери тому английскому офицеру, который первым взойдет на вал Большого редана: так горячо было рвение одного из виднейших зачинщиков Восточной войны и так велика была его уверенность в том, что первый английский офицер этот будет молод, холост, конечно, знатен и, самое главное, останется цел и невредим!

Но и в этот решительный день англичане против третьего бастиона остались верны себе: они не спешили со штурмом.

Уже с утра поведение их резервов показалось подозрительным генералу Павлову, начальнику гарнизона третьего отделения оборонительной линии, и он приказал всем своим войскам сделать то, чего не догадался приказать Буссау на Малаховом: выйти из

блиндажей и быть готовыми к штурму, несмотря ни на какие потери. Даже Обоянскую дружину курского ополчения поставил он на банкеты, перетростив ее двумя ротами Якутского полка для крепости и порядка.

Впрочем, тут могли бы даже и не ждать штурма, заранее не нести излишних потерь. На глазах у всех здесь начался штурм Малахова, — остервенело лезли зуавы на вал, сорвали только что взвившийся на нем флаг опасности, — синий флаг — и подняли вместо него трехцветный флаг Франции, — в две-три минуты наводнили собой всю площадку Корниловского бастиона, захватили батарею Жерве...

Яростно сжимая ружья, ждали, — вот кинутся так же точно из своих траншей англичане... но взамен атаки началась оттуда снова сильнейшая канонада. Пришлось, вместо того чтобы посылать картечь на Малахов, отстреливаться от англичан, действовавших упорно, но малопонятно...

Около двадцати минут длилась эта бомбардировка, но вот, наконец, оборвалась. Густой белый дым, окутавший траншеи англичан, начал вдруг алеть все сильнее, все гуще, — и заревели тысячи глоток: пошли на приступ красные мундиры.

На третьем бастионе были теперь части четырех славных полков 11-й дивизии: Охотского, Камчатского, Селенгинского, Якутского; были владимирцы, знакомые англичанам еще по Алминскому бою; были суздальцы; были минцы и волынцы, — резервных частей этих полков. Минцы и волынцы сведены здесь были в один минско-волынский батальон.

Англичанам пришлось бежать несколько дальше, чем французам, но они бежали лихо, несмотря на ружейный и картечный огонь, каким их встретили.

Руководил штурмом генерал Кодрингтон, начальник легкой дивизии. Свыше десяти тысяч человек было под его командой, — силы, казалось бы, более чем достаточные, чтобы захватить один бастион.

Во все дни последней, шестой, бомбардировки, как это было и раньше, — в пятую, четвертую, третью, — особенно страдал исходящий угол бастиона: его разбивали обыкновенно в щебень каждый день к вечеру, для того чтобы утром на другой день увидеть

его возобновленным и готовым к бою.

Но в этот день, как был он разбит с утра, так и остался, и английские генералы видели это, и сюда-то направили они главную массу штурмующих.

Те бежали рассыпным строем, чтобы уменьшить потери: впереди стрелки, за ними инженерный отряд и, наконец, штурмовая колонна. Фронт их был широк, и штурм бастиона общий. Но на левом и правом крыле их отбили камчатцы и якутцы с ратниками ополчения, а владимирцы в центре, — их было всего два малочисленных батальона, — не устояли. Разгоряченные успехом, отборные войска англичан, смяв их натиском, погнали их вглубь бастиона.

Начальником третьего бастиона был капитан первого ранга Перелешин 1-й (Перелешиных было на линии укреплений два брата, оба в равных чинах). С подзорной трубой в левой руке и пистолетом в правой он кинулся было останавливать владимирцев, но в него выстрелил английский офицер тоже из пистолета, и пуля отбила два пальца на его левой руке. Труба упала. Однако Перелешин выстрелил в англичанина в свою очередь, но его толкнули под руку бегущие мимо, — он промахнулся, его противник отскочил назад, к толпе солдат.

Кругом шла полная неразбериха боя, так как площадка бастиона вся была изрезана траверсами, всюду были блиндажи, кое-где даже с деревянными навесами у входов, случайно уцелевшими от неприятельских бомб и ядер, а около одного блиндажа разрослись даже густые кусты георгин, посаженных под веселую руку на авось весною, но потом пользовавшихся общим заботливым вниманием.

Боя сомкнутыми рядами тут и быть не могло. Оттиснутые от стенки владимирцы где работали штыками, где стреляли, где пускали в дело камни.

Генерал Павлов стоял у входа в свой блиндаж, когда к нему добрался Перелешин, белые брюки которого были залиты и забрызганы кровью, обильно лившейся из руки.

— Что же резервы? Где же они! — выкрикнул Павлову Перелешин срывая галстук свой с шеи.

— Идут резервы, идут! — ответил не совсем уверенно Павлов.

Восточные глаза его глядели встревоженно и прямо перед собой, и в стороны, и на окровавленные брюки начальника третьего бастиона. Разглядеть из дверей блиндажа, идут ли резервы, было совершенно невозможно из-за разных препятствий глазу, услышать бодрое боевое «ура» тоже было нельзя, так как кричать «ура» было воспрещено. А свалка кипела уж близко, — выстрелы, ярая ругань, — недалеко упал брошенный кем-то камень.

Войдя в блиндаж, Перелешин нервно принялся забинтовывать галстуком руку. Среднего роста, сухощавый и всегда очень спокойный, каким знал его Павлов, он теперь был бледен и зол, карие глаза его горели, когда к нему обернулся генерал и спросил:

— Что? Ранены?

— Ранен, ваше превосходительство, истекаю кровью и службы его величества нести не могу! — отрапортовал в ответ Перелешин, как старшему в чине, став во фронт и подняв к козырьку руку.

— Идут, идут! Гонят! — крикнул ему в ответ Павлов и выскочил в дверь.

Действительно, англичан гнали назад, к стенке, это увидел и Перелешин, вышедший наружу следом за ним.

Только что рапортовавший больным, он с плохо перевязанной рукой снова почувствовал себя хозяином бастиона, когда увидел подполковника Артемьева среди кучки солдат Камчатского полка.

— В штыки, ребята! — кричал Артемьев. — Лупи их, мать перемать, размать!

Крепкие слова так и рвались всегда с языка этого силача, картежника и кутилы, черного, как цыган, от загара; но теперь они были как нельзя более у места: без крепких слов как кинешься на краснорожих верзил, занявших уже недоступный для них раньше Большой редан, упоенных победой, верхом сидевших на пушках и загоняющих в их дула стальные ерши?

Камчатцы бежали, опережая своего командира и пригнувшись для сокрушительного удара с налета, а дальше, в узкие просветы между траверсами и козырьками блиндажей разглядел Перелешин еще кучки русских солдат в белых рубахах: это была рота якутцев.

Руку ломило в кисти и в локте, сквозь галстук капала все-таки кровь,

но Перелешин, направившийся было из блиндажа Павлова в тыл, к Павловской казарме, на перевязку, наткнулся на кучку владимирцев за одним из траверсов.

Их было человек пятнадцать, — все рядовые, молодые солдаты из пополнений.

— Вы что здесь? — крикнул Перелешин, сразу забыв про свою рану и перевязочный пункт. — Стройся в две шеренги! За мной, братцы! — и выхватил свою полусаблю, чтобы что-нибудь было в руке.

Как ни был стремителен порыв камчатцев, якутцев, владимирцев, оправившихся и приставших к Перелешину, но англичане дрались упорно, когда дотянулись до батарей: через разрушенный бруствер перескакивали новые и новые им на помощь.

Артемьев был ранен пулей в плечо. Он не ушел из строя, и черное лицо его было по-прежнему яростно, но плечо, правое, в крови.

Начали уже снова теснить англичане, когда подоспели, наконец, две свежие роты селенгинцев со своим командиром — полковником Мезенцевым.

Мезенцев, однокашник Лермонтова по школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, только дней за двадцать до того принял Селенгинский полк, будучи переведен по своей просьбе в Севастополь с Кавказа. Он был еще молод, ему не было и сорока лет. На Кавказе он был участником многих боев, прошел боевую школу в отряде знаменитого генерала Слепцова; здесь же это было первое сражение, в котором так хотелось показать ему себя перед новым полком настоящим кавказским рубакой.

Высокий и стройный красавец, он шел впереди, и селенгинцы с ним не только остановили новый натиск англичан, — они их погнали назад, они не дали им удержаться и около батарей, где была уже переколота ими почти вся прислуга, они опрокинули красномундирников в ров, совершенно очистив от них бастион.

Но скатившись в ров и потом добежав до засеки, англичане начали пальбу из своих штуцеров, и стоявший во весь рост на валу Мезенцев вдруг взмахнул обеими руками и повалился навзничь: он был убит наповал, — пуля прошла через голову над переносьем.

Перелешин уцелел в этой схватке, но обессилел от потери крови. Он

передал начальство над третьим отделением капитану 1-го ранга Никонову, командиру батареи своего имени, а сам пошел, поддерживаемый матросом, к берегу Большого рейда. Здесь матрос усадил его на шлюпку и отправил на пароход «Бессарабия».

Павлов же послал своего адъютанта к Остен-Сакену с донесением, что штурм отбит, однако ликовать по этому поводу было еще рано.

VI

В середине августа охотцы, стоявшие в прикрытии на третьем бастионе, переведены были на соседнюю Пересыпь, где еще с июня прочно обосновалась в непробиваемых снарядами пещерах большая часть полка, а камчатцы — неполный батальон их — перетянуты Павловым к себе, на третий бастион; а так как хрулевский пластун Чумаченко числился со своей небольшой командой пластунов при Камчатском полку, то и он перешел на третий бастион тоже.

Конечно, он в тот же день нашел случай повидаться с Хлапониным.

— Ты ко мне, Терентий? — спросил его Хлапонин.

— Никак нет, на ваш бастион перешли мы с Малахова, — выжидательно глядя на «дружка» и стараясь не улыбнуться даже краем губ, ответил Терентий. — Поэтому, выходит, я теперь с вами буду.

— Очень хорошо, братец, очень хорошо! — совершенно непосредственно и даже обрадованно с виду отозвался на это Хлапонин.

Эта обрадованность была понятна: на «честный» бастион, с которым успел уже сродниться, который считал уже «своим» с начала осады и совершенно произвольно ставил выше всех других бастионов Хлапонин, явился такой молодчага с двумя Георгиями. Всякому укреплению, — будь это бастион, батарея или редут, — лестно бы было заполучить такого охотника, несмотря даже на то, что слишком уж близко подошли траншеи неприятеля к валам.

Но о своей пластунской ценности забыл в это свидание с Дмитрием Дмитриевичем Терентий. Обрадованность Хлапонины он приписал тому, что они земляки, старые «дружки», хотя кое-что их теперь и разделяло: один был офицер, штабс-капитан, другой — всего-навсего

унтер, и потому только унтер, что посчастливилось удачно бежать от суда, кнута и каторги, если только не смерти под кнутом.

Для Терентия, чуть лишь увидел он прежнее, как в Хлапонинке, улыбающееся лицо Дмитрия Дмитриевича, тот сразу перестал быть штабс-капитаном артиллерии, он сделался прежним, старинным и простившим, таким, с кем можно было говорить не о том, что творилось тут кругом, а о своем, понятном только им двоим.

Говорить же теперь как раз не мешала канонада, — выдались минуты затишья; поэтому Терентий, с прежним деревенским выражением значительно изменившегося уже лица, заговорил сразу, понизив несколько голос:

— Белгородская-то дружина наша, знаете, конечно, Митрий Митрич, на втором бастионе стоит... Тимофея с киллой помните?

— Тимофея... с киллой? — не удивившись такому обороту разговора, добросовестно начал припоминать Хлапонин.

— В пивачнике он был приставлен, печку там топить, — напомнил ему Терентий.

— Тут шишка была? — показал на свой подбородок Хлапонин.

— Истинно, тут! Ну, его вчерашний день отправили на Братское: убитый... А другой какой был — Евграф Сухоручкин, — тот животом занедужил на Сиверной, там гдесь и остался... Ну, все-таки я с Тимофеем разговор имел про нашу Хлапонинку, чего там было, как я оттель ушел...

Дмитрий Дмитриевич слушал его уже без улыбки, но Терентия не остановило это.

— Было там вроде как бунт... Он мне хотя не успел в полностью обсказать, ну, все-таки про бабу мою услышал я, — не дали под замок посадить! — блеснув глазами, продолжал Терентий. — Исправник после того приезжал сам, и тот вроде бы не посмел ее зря обидеть: ну, она же тяжелая тогда, близу родов ходила, вам известно, — вот народ и кричал становому: «Не замай!..» Теперь уж кормит.

— Тоскуешь? — хотя и без улыбки, но сердечно спросил Хлапонин.

— Эх, Митрий Митрич! Сейчас-то, слова нет, тосковать некогда — служба... А как службе этой конец придет, вот когда тоска моя начаться должна... Мне тогда не иначе как опять на Кубань

подаваться, — пластун и пластун. Что ж, я по-ихнему уж трохи балакаю... может, я бы там деньжонок разжился — Лукерью бы свою выкупил с ребятишками... а, барин?

— Какой же я тебе барин? — улыбнулся Хлапонин. — А насчет семьи своей не тоскуй: может, не так уж долго ждать осталось до воли всем.

— О-о! Всем волю дадут? — так и засиял Терентий. — Это ж, значит, господа промеж собой говорят там?

— Офицеры? — переспросил Хлапонин. — Да, говорят многие, что крепостной зависимости после этой войны должен прийти конец.

— Э-эх, дожить бы только! Не дадут ведь эти, Митрий Митрич! — кивнул головой Терентий в сторону английских батарей. — Я через это и с Тимофеем не опасывался говорить: все одно, думаю, отседа живому-здоровому мудреное дело выйти. Так на мое с Тимохой и оказалось... А больше я никому про себя не сказывал, кроме как вам. Как раз в это время к Хлапонину подошел Арсентий с записочкой от Елизаветы Михайловны, — он делал это почти ежедневно, причем заходил по пути в Павловские казармы распытывать про Витю Зарубина, как там он.

Узнав его, Терентий отшатнулся, сказав по-солдатски:

— Счастливо оставаться, ваше благородие! — и хотел уже уйти, но его остановил Хлапонин, взяв за плечо.

— Узнал, кто это такой? — весело спросил он Арсентия, весело потому, что получить маленькую записочку от жены всегда было для него большою радостью.

Арсентий внимательнейше взгляделся в пластуна с двумя Георгиями, с унтер-офицерскими двумя басонами на измятых погонах бешмета, залатанного в десяти местах, и с огромным кинжалом за кожаным поясом, и нерешительно-отрицательно повел головой:

— Не могу знать.

— Изменился, точно... Его бы и жена родная не узнала теперь, — сказал Хлапонин и добавил: — Он из Хлапонинки — ты там его видел.

— Неужто... Терентий?

— Я и есть.

Арсентий, взглянув на улыбающегося штабс-капитана, снял свою

белую без козырька фуражку, Терентий же смахнул с головы облезлую рыжую папаху, и они поцеловались три раза накрест, как земляки, встретившиеся на чужбине.

На третьем, как и на других бастионах, среди офицерства процветала азартная игра в карты. Она была вполне понятна там, где каждый день и каждым ставилась на карту случая жизнь. При этом капризное, непостижимое «везет» — «не везет» привлекало в игре этой, пожалуй, больше, чем возможность вдруг выиграть много денег.

Деньги очень мало ценились здесь: нынче жив, а завтра могут отправить твоё тело на Северную, на кладбище, — и зачем тогда деньги, сколько бы их ни скопилось от жалованья, которое совсем почти некуда было тратить?

Было на третьем бастионе два простых деревянных навеса: один «морской», другой «сухопутный», под которыми обычно резались в банк и банчок в свободные от службы часы. Навесы эти, конечно, должны были только давать тень в жару, но никто не забывал о том, что они способны предохранить их от канонады не в большей степени, чем воздух.

Они были даже очень опасны, так как из-за них нельзя было разглядеть «нашу», о которой вопили сигнальщики, а эта «наша» прежде всего, обрушив навес, должна была неминуемо придавить обломками досок всех играющих.

Так это и случалось не раз, но подобные случаи никого отвратить от игры не могли.

Хлапонин принадлежал к редкому в военной среде того времени типу людей, не находивших никакого удовольствия в картежной игре, даже как в развлечении от скуки. А на бастионе тем более ему некогда было скучать: впору было приспособиться только к этой совершенно исключительной жизни. Гораздо больше времени проводил он с людьми своей батареи, чем это было принято у командиров батареи даже здесь, среди непрерывных почти артиллерийских боев.

Обученной раньше артиллерийской прислуги оставалось уже мало не только у орудий на укреплениях, где матросов давно начали заменять пехотинцами, но и в артиллерийских бригадах пехотных корпусов.

В пополнения на место убитых и раненых из артиллерийской прислуги

стали присылать за последние недели даже ополченцев. Эти пополнения нужно было еще обучать тому, как обращаться с орудиями, а между тем каждый день можно было ожидать, что легкая полевая батарея будет призвана показать на деле, к чему она готовилась.

Занимаясь с солдатами, Хлапонин был неизменно терпелив и ровен. Он был таким и раньше, до своей контузии, теперь же пройденный им самим в несколько месяцев труднейший путь от совершенно бессознательного к ясной и послушной мысли научил его гораздо большей снисходительности к такому же почти трудному пути пехотных солдат, приставленных неожиданно для них к пушкам.

VII

Частые и точные, короткие, круглые, упругие выстрелы хлапонинской батареи, стоявшей на левом фланге третьего бастиона, обдавали бежавших на штурм англичан таким густым роем картечи, что немногие добрались до вала и еще меньше вскарабкалось было с разгона на вал, но были опрокинуты в ров штыками якутцев и ополченцев.

Успехом англичан в исходящем углу бастиона Хлапонин был больше изумлен, чем обеспокоен: он не допускал такой удачи штурмующих; он знал, конечно, что бруствер в средней части укрепления совершенно разрушен утренней бомбардировкой, но знал также и то, что там стоят владимирцы — два батальона...

Огня своих пушек он не прекращал. Они били по ближайшим английским резервам, они заградили им путь, отрезав тем самым тех, которым удалось пробиться на бастион. Однако оказалось, что пробившихся было много: их мундиры краснели сплошь. Они двигались прямо к горже бастиона — владимирцы отступали поспешно, разбиваясь в тесноте проходов на мелкие кучки...

Поднялась ружейная пальба — беспорядочная, с обеих сторон. Из-за дыма трудно уж стало что-нибудь различать там, дальше, а здесь, около орудий, столпились курские ополченцы четвертой роты, потерявшие уже своих двух офицеров.

Они кричали, размахивали руками, — иные бросали наземь ружья и

поспешно вытаскивали из своих сумок привычные топоры, готовясь к явной и близкой рукопашной.

Чуть только заметив это, Хлапонин, схватив бывший при нем штуцер, добытый у тех же англичан Кошкой, наскоро передав команду над батареей старшему из своих субалтернов, поручику Лилееву, бросился в ряды ополченцев, крича незнакомым самому себе голосом:

— Поднять ружья! Стреля-ять!

Чтобы увлечь их примером, он пробился через толпу их вперед и выстрелил сам в англичанина, сидевшего всего шагах в сорока верхом на крупнокалиберной пушке и занятого ее заклепкой.

Англичанин ткнулся головой вниз, тяжело и неловко сполз, выставив кверху только одну ногу, но через два-три мгновения соскользнула с орудия нога, а вслед за хлапонинским выстрелом защелкали выстрелы ополченских ружей по другим целям, благо было их очень много: до тысячи человек успело ворваться на бастион.

Эту пальбу, поднятую во фланг колонне англичан, подхватили якутцы, быстро перестроив свой фронт, и стремительный разбег ворвавшихся был задержан как раз в то время, когда дорог для них был каждый момент и каждый свой штык: на голову их колонны дружно напали камчатцы со своим командиром Артемьевым, с одной стороны, и рота якутцев из ближнего резерва — с другой.

Но вот ринулись англичане обратно под натиском селенгинцев, — и половины их не ушло с бастиона, — а над бегущими в свои траншеи то и дело рвались картузы картечи, посылавшиеся хлапонинской батареей.

— Каково, а? — кричал Хлапонин, обращаясь к поручику Лилееву. — Вот так расчесали рыжие кудри господам энглезам!

Не кричать было нельзя: и звонкая ружейная перестрелка шла с обеих сторон, и возбуждало сознание победы.

Однако Лилеев, человек хотя и молодой еще, но всегда сосредоточенный до угрюмости, широкое лицо которого было теперь и закопчено и слегка забрызгано чьей-то нестертой кровью, повернул в его сторону очень яркие белки больших глаз и ответил:

— А вот кабы сейчас не расчесали и нам!

Он кивнул при этом на Зеленую гору, где на одной из батарей

взвилось сразу несколько белых дымков.

Действие легких орудий одного из флангов Большого редана заметили, конечно, там; тут же вслед за дымками донесся рев широкогорлых мортир.

И круто и быстро явившись на смену возбуждению, боевому подъему, предсмертная тоска вдруг охватила Хлапони́на. Все его тело оцепенело вдруг, потеряло способность двигаться, умолкло, мгновенно пронизанное этой тоской — предчувствием конца, скорого — через несколько мигов, неизбежного, неотвратимого.

Предсмертную тоску эту увидел, — скорее, впрочем, почувствовал, чем увидел, в глазах Хлапони́на его субалтерн и отскочил от него сразу как мог дальше. Тут действовал темный инстинкт — не сознание: впечатление от лица Хлапони́на не успело еще передаться мозгу поручика.

Снаряды английских мортир взвились отвесно над батареей, — и не нужно было, чтобы сигнальные закричали неистово: «На-ша, берегись!..» — мортиры были давно и точно пристреляны, залп тщательно рассчитан...

Через несколько жутких моментов отлетевший в сторону от взрыва большого снаряда, оглушенный при этом, поручик Лилеев лежал полuzасыпанный землей и вновь, теперь уже щедро, обрызганный чужою кровью.

Когда же очнулся он, открыл глаза, поднял голову и огляделся, то Хлапони́на не увидел.

Прямо перед ним торчала из земли чья-то развороченная спина. Сквозь кровавые клочья рубахи и обломки ребер выкатилась на землю почти черная, но очень яркая печень; головы у трупа не было... Одно орудие их батареи стало на попа, воткнувшись наполовину в землю... Солдатский рыжий сапог тоже стоял рядом с этим орудием, стоял, чуть припав к нему, и Лилеев понял, что в этом сапоге — оторванная нога... К земле, которой был присыпан он сам, прилипли клочья мозга...

Он высвободил грудь, выпростал руки и попробовал приподняться, но это оказалось нелегко, хотя он и чувствовал, что он не ранен, только ушиблен. К нему подскочили двое якутцев и откопали его, отгребая

землю руками.

А канонада между тем гремела; Лилеев слышал, как рвались позади, в глубине бастионной площадки, большие снаряды.

С трудом сделал он несколько шагов вдоль своей батареи: только три орудия осталось неподбитых, и к ним приставлены уже были солдаты-якутцы, так как всего несколько человек из бывшей артиллерийской прислуги оказались пока боеспособны. Младший субалтерн, прапорщик Кугушев, лежал тяжело раненный, без сознания.

Лилеев спросил одного из своих:

— Где командир батареи?

Тот ответил:

— Не могу знать.

В это время как раз оборвалась бомбардировка: англичане, собрав под ее прикрытием нужные силы, вновь пошли на штурм.

Артиллерийская прислуга орудий средней части бастиона была истреблена при первом штурме и часть орудий заклепана, а у тех, которые способны еще были дать отпор англичанам, поставлены были солдаты Селенгинского полка.

Бомбардировка, начатая противником после неудавшегося штурма, длилась всего полчаса, но она принесла Большому редану много потерь, так как резервы не уводились в тыл.

Однако эти резервы отстояли славный бастион и батареи Будищева, Яновского и Никонова от нового натиска, еще более ожесточенного, чем первый.

Англичане снова ворвались было там же, где и прежде, — в исходящем углу бастиона, и штыковой бой был упорен, но долго выдержать его они не могли: их опрокинули и гнали до завалов. В этой рукопашной схватке погиб и богатырь-владимирец Лазарь Оплетаев; на обширном теле его насчитали потом тридцать четыре штыковых раны: много работы задал он красномундирникам!

В одном месте, во рву, засело было несколько десятков англичан с двумя офицерами, но полурота владимирцев с прапорщиком Дубровиным выбила их оттуда; оба офицера и человек пятьдесят солдат сдались.

Для третьего штурма английские генералы во главе с Кодрингтоном

готовили шотландские полки, но шотландцы отказались идти на явную, как им казалось, гибель: все подступы к третьему бастиону и фланговым батареям его густо покрыты были телами убитых, раненые, способные держаться на ногах, наполнили траншеи, и призывы и угрозы офицеров оказались бессильны, чтобы сдвинуть с места еще и этих детей королевы Виктории, у которой «материи не хватало им на штаны».

Кроме того, три наиболее горячих английских генерала — Шиллей, Варрен и Страубензе — были ранены, и Кодрингтон вынужден был ответить Пелисье через присланного им адъютанта, что он откладывает новый штурм Большого редана на следующий день.

Неудача второго штурма так обескуражила англичан, что они не сразу после него открыли бомбардировку.

Передышкой этой воспользовались селенгинцы, чтобы в гряде тел, заваливших развороченный бруствер — тел своих и чужих — отыскать тело полковника Мезенцева. Его узнали по носкам лакированных сапог, выдававшихся из земли: он был заботливо похоронен уже разрывом бомбы около него, и откапывать его пришлось довольно долго. Однако селенгинцы докопались все-таки и отправили тело своего храброго командира на Павловский мысок, откуда тела перевозились на барже на Братское кладбище.

Но и несколько человек артиллеристов, оставшихся в живых из всей прислуги легкой батареи Хлапони́на, тоже занялись поисками тела своего начальника.

— Хорошее начальство было, жалко! — говорили они.

И одному удалось догадаться пошарить в воронке, вырытой снарядом раньше за батареей, шагах в десяти.

Как-то совсем невероятным показалось другим, чтобы туда могло отбросить тело, но вышло именно так. Тело Хлапони́на было укрыто остатками другого, разорванного тела и присыпано землей, которая от очень долгой обработки ее кирками, лопатами и ядрами стала совсем рыхлой, как морская галька.

Пожалев о своем командире, тело понесли в ближайший блиндаж, где уже сложены были в три яруса мертвые тела, но как раз в это время к блиндажу подошел пластун Чумаченко.

— Митрий Митрич! — крикнул он в отчаянии, наклоняясь над лицом Хлапонины, и тот открыл глаза.

— Что ж вы, нехристи, живого человека в покойницкую потягли? — закричал Чумаченко на волочивших Хлапонины солдат, но те и без крика его опешили, и только один пробормотал в свое оправдание:

— Даже и господин офицер подходили и тоже сказали, — как есть мертвые...

Действительно, Лилеев подходил, щупал пульс, клал руку на сердце, но не нашел признаков жизни в теле своего начальника, да трудно было и предположить их: лицо Хлапонины было мертвенно-синим, губы стиснуты, глаза закрыты.

— Митрий Митрич! — еще раз крикнул Терентий в самое ухо Хлапонины.

Тот ничего не сказал в ответ, но, видимо, пытался сказать, так как чуть-чуть шевельнул губами.

Терентий быстро ощупал руки и ноги, нет ли переломов, щупал тщательно, но переломов не было. Ощупал грудь и спину, но и ребра, так показалось ему, были целы.

— Должно, внутренности отбило, — сокрушенно покачал головой Терентий и, добавив еще сокрушенней: «Эх, Митрий Митрич, не мне, а вам пришлось!» — оглянулся, не идет ли кто с носилками, но не было близко носилок.

Тогда он подобрался крепкими руками под спину и колени Хлапонины, поднял его и понес к горже бастиона.

У горжи увидел он трех матросок, между которыми была и Рыжая Дунька. Они, бесстрашные, только что принесли на коромыслах свежей воды из колодца.

Дунька, зная пластуна Чумаченко, обратилась к нему, ласково-грубо:

— Упрел, леший? Водицы на выпей... Кого это тащишь? — и протянула ему кружку воды.

— Хлапонины Митрий Митрича, — ответил Терентий, не опуская наземь тела и наклонившись к кружке, которую Дунька держала в руке.

Пока он жадно глотал воду, Дунька присмотрелась к ноше пластуна.

— Это же Хлапоньев никак! — вскрикнула она.

— А я тебе что говорю? Знаешь его?

— Ну, а как же, сколько разов белье ему стирала! Хороший офицер какой был!..

— Разве уж побывшился? — испугался Терентий и опустил тело, просто оно как-то само выскользнуло у него из рук, ослабевших от страха.

— А неужто живой был? — и Дунька, набрав в рот воды, брызнула ею в лицо Хлапонины.

Лицо слабо вздрогнуло от холодного, глаза открылись.

— Митрий Митрич! Друг! — обрадованно, но со слезами в голосе вскрикнул Терентий. — Ты уж меня не печаль, а также жену свою тоже.

— Те-ре-ха... — с усилием, однако внятно, так что расслышал наклонившийся к самым губам его пластун, проговорил Хлапонин.

— И правда, живой, смотрит! — обрадовалась Дунька.

Терентий схватил «дружка» снова, как и прежде, в охапку и направился к Павловским казармам на перевязочный, уже не останавливаясь.

VIII

Сильный ветер, неустанно дувший с моря весь этот очень памятный как для русских, так и для англо-французов день 27 августа — 8 сентября, воспрепятствовал линейным кораблям союзного флота принять участие в последней бомбардировке Севастополя. Помогать штурмующим сухопутным войскам явилось только несколько бойких канонерок. Они ретиво принялись было обстреливать город и мост через рейд, но береговые батареи скоро заставили их уйти.

Действия канонерок в неудачную для этих действий погоду, конечно, могли навести кое-кого из начальствующих лиц Городской стороны на мысль о возможности штурма. Но и без этого замечена была явная подготовка к штурму многими, наблюдавшими, что делается в неприятельских траншеях. Там усиленно передвигались большие отряды войск, чего нельзя было сделать совершенно секретно, и еще часа за два до начала штурма на Корабельной бессменный командир

люнета своего имени лейтенант Белкин приказал бить тревогу.

Барабанный бой мигом был подхвачен и прокатился по всей линии укреплений Южной стороны. Пехотные прикрытия бегом кинулись занимать свои места на банкетках; из-за мерлонов выкачены были полевые орудия, заранее заряженные картечью; из мин выводились лишние люди; резервам приказано было войти в редуты...

Тревога, правда, оказалась преждевременной, но она заставила проверить, все ли готово для встречи врага, а сам лейтенант Белкин вспомнил о небольшом блиндаже на своем люнете, где около вольтова столба дежурили гальванеры.

Фамилии иногда бывают очень показательны для тех, кто их носит. Вытянутое вперед, острое, с поставленными очень близко к носу всегда беспокойными глазами, лицо лейтенанта Белкина таило в себе что-то именно беличье. По характеру же он очень заметно напоминал этого непоседливого, живого, всегда хлопотливого грызуна. Небольшой, легкий, он неумоимо следил за всем на своем люнете, при этом, как шутили над ним товарищи, был так верток, что успевал увертываться даже от пуль, не говоря о снарядах: он выдержал на люнете всю осаду и не был ни разу ранен.

И теперь, когда поднятая им тревога поставила на ноги оборонительную линию Южной стороны, лейтенант Белкин успел не только обойти и проверить все наружное на своем люнете, но спустился также и в уединенный небольшой блиндажик с вольтовым столбом. Его встретил дежурный гальванер и отрапортовал, что у него «все обстоит благополучно».

— Благополучно, говоришь? — озабоченно спросил Белкин. — А фугасы, в случае ежели действовать будут?

Гальванер — сероглазый, с шишковатым широким лбом, ответил уверенно:

— Должны действовать, ваше благородие.

— Должны-то должны, а будут ли? Говорят, что все уж теперь тут ни к черту! Ведь это весной еще делалось, а теперь — конец августа.

— Аппарат в порядке, ваше благородие, — непоколебимо ответил гальванер.

У него был такой серьезный и уверенный вид, точно сам он являлся

частью аппарата, приготовленного для взрыва фугасов.

— Как фамилия? — спросил его Белкин.

— Второго саперного батальона, младший унтер-офицер Аникеев Петр, ваше благородие.

— Вот что, Аникеев, приказаний тебе никаких не будет, — их мне некогда будет давать, а может статься, меня и убьют в самом начале дела.

— Боже избави, ваше благородие!

— Так вот: приказаний не будет, а как только сам увидишь, что неприятель колонной идет над фугасами, действуй!

— Слушаю, ваше благородие!

Белкин еще раз бегло взглянул на немолодое надежное лицо Аникеева с его шишковатым широким лбом и серьезными серыми глазами и вышел из блиндажика вполне успокоенный.

Тревога оказалась фальшивой, однако никто не поставил ее в вину Белкину: она сделала свое дело. Начиная с десяти утра все ждали штурма на Южной стороне — от генералов Семякина и Хрущева до последнего

солдата-кашевары.

Но неприятель медлил; явно готовясь к штурму сам, он не препятствовал русским готовиться к его отражению: он даже канонады не открывал, — осадные батареи молчали.

Не нужно было прибегать к зрительным трубам, чтобы разглядеть, как бурлили французские траншеи, наполняясь войсками, подходившими из резервов. И в то же время такие слишком открытые передвижения войск казались Семякину преднамеренным ложным маневром, чтобы сюда, на Южную сторону, притянуть побольше русских полков и тем обессилить Корабельную.

— Вот вы увидите, или я буду не я, — говорил Хрущеву Семякин, — эти бестии штурмовать нас не будут! Помните, то же самое они проделывали и шестого июня: у нас только демонстрация, а штурм будет там, на Корабельной.

Иногда, когда слишком уж откровенно высывались французы из передовых сап, Семякин приказывал открывать по ним пальбу картечью; но на эту пальбу они подозрительно не отвечали, поднимая

только ружейный, и то недолгий огонь.

Похоже было и на то, что французы берегли свои снаряды на другое время, когда хотели обрушиться ими на русские укрепления со всею возможной силой, — до того загадочно было поведение противника.

Кашевары же гарнизона Южной стороны работали в этот день, как всегда, и борщ их и каша с салом были готовы в положенный час, так что в полдень начали обедать и здесь, как на Корабельной, а во время обеда к Семякину прискакал адъютант Остен-Сакена предупредить его, что французы пошли на штурм Малахова.

Солдатский обед много времени не отнимает, и, зная это, Семякин не беспокоил людей, тем более что был уверен в своем мнении. Он и адъютанту Сакена сказал:

— Передайте его сиятельству, что мы в безопасности: на нашей стороне штурма не будет.

В час дня он разрешил даже половине людей, поставленных в передовой линии, сойти с орудийных платформ и банкетов, чтобы не загромождать их излишне. Глухота обычно придает человеку много спокойствия, но Семякин, кроме того что был глух, был еще и весь во власти охватившей его мысли, что он вполне разгадал тактику врага.

И, однако, не больше как через час еще он убедился в том, что жестоко ошибся.

Правда, корпусу генерала де Салля, стоявшему против укреплений Южной стороны, предписано было не начинать дела до получения особого на то приказа Пелисье, и вот как раз около двух часов дня, когда выяснился полный неуспех и англичан и дивизий Дюлака и де Ламотт-Ружа, французский главнокомандующий послал де Саллю приказ штурмовать пятый бастион и прилегающие к нему люнеты Шварца и Белкина.

У французов все уже было готово к штурму, и расстояния от их траншей до рвов укреплений были ничтожны: пятьдесят — восемьдесят шагов...

Выскочили и ринулись.

Впереди стрелки рассыпным строем, но в несколько шеренг, за ними саперы с лестницами, кирками, лопатами; наконец, быстро строившиеся частью на месте, частью на бегу штурмовые колонны.

Стремителен был натиск, но никого не застал врасплох. Тревогу, конечно, били барабанщики, но в ней было уж теперь мало нужды: все знали свои места и заняли их отчетливо, как на ученье; все знали, что надо делать, и в атакующих полетел сразу рой пуль и картечи.

Однако французы шли храбро несколькими колоннами сразу, причем на люнет Белкина две колонны, — бригада генерала Трошю, бывшего у Сент-Арно начальником штаба; одна шла на передний фас люнета, другая — на правый фланг. И когда выскочивший по тревоге из своего блиндажика, в котором мог поместиться только один человек, гальванер Аникеев увидел, едва разглядел сквозь дым, что вторая колонна движется как раз на фугасы, он тут же бросился к своему вольтову столбу.

Безостановочно гремела ружейная пальба, ежесекундно перекрываемая ревом орудий; теряя множество людей, французы все-таки быстро подвигались ко рву люнета. Они исступленно кричали: «Vive l'empereur!» — и передовые ряды их уже врывались в ров, когда раздался страшный грохот, задрожала земля, густо замелькали в задымленном воздухе камни и люди, и все, кто мог еще думать о своем спасении, повернули обратно, спотыкаясь на трупы и камни, попадая десятками в волчьи ямы и огромные воронки...

Только три фугаса были заложены перед правым фасом люнета, но французов, успевших заскочить в ров переднего фаса, никто уже не поддержал: фугасы стали представляться отхлынувшим колоннам везде, — на второй штурм не решились. А заскочившие в ров, — их было человек двести, — частью были перебиты штыками, но в большей части сдались роте Подольского полка и команде матросов.

Генерал Трошю был тяжело ранен картечью в ногу при штурме пятого бастиона, куда он лично вел три батальона своей бригады.

Никому из штурмовавших пятый бастион не суждено было побывать на нем: слишком горяча оказалась встреча, приготовленная им здесь; они не вынесли картечи и ружейных пуль и бежали.

Только на люнет Шварца, где самого Шварца уже не было в это время, — раненный за месяц до того, он лежал в госпитале, — ворвалась передовая часть бригады генерала Кустона и оттеснила численно слабый батальон Житомирского полка.

Но подоспел другой батальон житомирцев и опрокинул французов. Попытка захватить хотя бы одно из укреплений Южной стороны кончилась для французов только тем, что они потеряли ранеными, кроме Трошю, еще двух генералов — Риве и Бретона; внутренность люнета Шварца была завалена телами погибших в рукопашном бою; десять офицеров и полтораста солдат попали в плен, а всего выбывших из строя насчитано было до двух с половиной тысяч. На четвертый бастион не было нападения. Если фугасов перед люнетами Белкина французы не ожидали встретить, то все подступы к четвертому бастиону представлялись им минированными. И когда генерал де-Салль обратился к Пелисье, атаковать ли Мачтовый бастион, тот разрешил этого не делать, чтобы избежать лишних и больших потерь: он считал, что захват Малахова уже обеспечил ему победу над Горчаковым, и для него важно было, чтобы Наполеон и Франция не сочли эту победу купленной чрезмерно дорогой ценой.

IX

Конечно, победа над Горчаковым была одержана гораздо раньше, когда русский главнокомандующий царю писал: «Я в невозможности нахожусь защищать далее этот несчастный город!..» Конечно, все уже было приготовлено Горчаковым к тому, чтобы гарнизон покинул Севастополь, и еще утром в этот день князь Васильчиков, уверенный в том, что штурм отложен в долгий ящик, ездил на Северную к Тотлебену выяснить подробности очищения как Южной стороны, так и Корабельной... Костер был уже сложен, не хватало только спички, чтобы его поджечь, — не хватало оправданий, — и они пришли в полдень.

И чуть только телеграф передал из Николаевских казарм, от Сакена, на Инкерман Горчакову известие о начале штурма, тот облегченно сказал:

— Ну вот! Наконец-то!.. Это — третий!.. Первый был двадцать шестого мая, второй — шестого июня, это — третий!

И тут же поскакал со всей свитой к мосту.

На мосту он несколько задержался, обратил внимание Коцебу на то, что толстые бревна обросли уже в воде длинными зелеными бородами

тины. Эти бороды сильно трепало теперь волнение, поднятое ветром. Волны хлупали о комли бревен и обрызгивали палубу, а на середине моста копыта лошадей почти до щетки покрывались водою.

— Вот видите, видите, Александр Ефимович! — встревоженно обратился, заметив это, Горчаков к Бухмейеру. — Я именно это и предвидел! Нужно же, чтобы такой ветер в такой именно день!.. Может быть, к ночи утихнет, а?

— Непременно должно утихнуть, ваше сиятельство, — постарался успокоить его строитель моста.

С другого берега Горчаков еще раз поглядел на мост и на беляки на рейде, озабоченно покачал головой и направился к Николаевской батарее, где Сакен доложил ему, что Малахов взят французами, а на втором бастионе и третьем первые атаки отбиты.

Горчаков встретил это так, как будто иначе и быть не могло: чины его свиты заметили, что он не проявлял теперь свойственной ему нервной суетливости. Совсем напротив, он был неожиданно на месте именно теперь, когда у Сакена дрожал и срывался голос при фразах: «Малахов занят... на Малахове французский трехцветный флаг...»

Длинное, со впалыми щеками, лицо Горчакова вдруг сделалось как будто даже надменным от сознания того, что все идет пока именно так, как должно идти, и что он на то и главнокомандующий, чтобы понимать это и в то время, когда другим около него ход событий кажется не совсем ясен.

Есть у каждого человека в жизни, как бы длинна она ни была, такой день, когда он проявляется во всей полноте своих возможностей, расцветает, как сказочный папоротник в Иванову ночь. Совершает ли он какой-нибудь памятный для всех подвиг, делает ли «счастье своей жизни», приходит ли к открытию, заставляющему кричать «нашел!», охватывает ли его трепет необычайного замысла, которому потом отдаст он годы или десятки лет, но в день этот, его день, он становится неузнаваем для тех даже, кто знал его с детства.

Так сделался неузнаваем Горчаков для окружающих, едва только услышал, что Малахов взят французами, хотя другие бастионы стоят, отражают штурмы. Он бодро и довольно стремительно для своих лет, особенно же для своего положения, поднялся по чугунной лестнице на

четвертый этаж Николаевских казарм, чтобы оттуда из окна в зрительную трубу следить за всем, что будет видно. И все около него должны были безмолвно согласиться с тем, что если площадка над морской библиотекой теперь уже разбита, то самая высокая точка для того, чтобы смотреть с нее в трубу за разгаром боевых действий, именно здесь, на четвертом этаже Николаевской батареи, и только здесь все они и могли бы поместиться в безопасности, больше нигде.

Он ясно давал чувствовать всем около, что не проигранное четвертого августа сражение на Черной речке определило дальнейшую участь Севастополя, как об этом думали многие, а что участь города и дальнейший ход кампании определяются только вот теперь и именно так, как предполагал он сам.

Еще там, на Инкермане, садясь на лошадь, он отдал приказ, чтобы испытанные полки 12-й дивизии — Азовский, Одесский, Украинский — шли на Южную сторону, и теперь из окна квартиры начальника гарнизона мог любоваться тем, как стройно, в полном порядке, неся яркое солнце на своих штыках, проходил один из этих полков по мосту в колоннах по отделениям — шесть человек в ряд.

Колонны держали только равнение, — не шаг, — так им было приказано. Нельзя было разглядеть из-за волнения в бухте, насколько прогибается под их тяжестью мост: волна захлестывала и бревна моста и сапоги солдат пенно-белыми брызгами.

Конечно, движение войск через Большой рейд было тут же замечено с батареей противника. Снаряды летели оттуда кучей; можно было опасаться и огромных потерь людьми и непоправимой порчи моста: вдруг обрушится в самой середине — что тогда?

Другие части перевозились на баржах, на буксире у катеров, на шаландах, на пароходах, но все внимание Горчакова было обращено на мост, по которому в эту ночь должен был отойти на Северную весь гарнизон Южной и отчасти Корабельной сторон.

Стрельба по мосту была неудачна, как всегда: около моста взлетали вверх белые фонтаны, солдаты шли бодро и выбрались все на городской берег, мост оказался цел, — и эта удача еще более скрепила все, что было до этого дня расшатанного, колеблющегося в Горчакове. Приказания, какие он теперь отдавал, звучали

решительно. К Коцебу за справками, как обычно, он уже не обращался; даже и шепелявить как будто перестал, — так показалось генералам около него и адъютантам.

Остен-Сакен счел необходимым выказать свое служебное рвение в такие исключительные часы жизни вверенной ему крепости и сам просил позволить ему навестить укрепления Южной стороны, а на Корабельную отправился вышедший с ним вместе из Николаевских казарм Васильчиков.

Весь город стал с приездом главнокомандующего жить в гораздо большей суматохе, так как удвоилось число адъютантов и ординарцев, скакавших из Николаевских казарм к укреплениям и обратно. Бежали резервы, вызываемые на бастионы, грохотала артиллерия... Сестры милосердия получили приказ немедленно перебираться из перевязочного пункта Николаевской батареи на Северную, хотя и ожидался большой наплыв раненых. Сестры не понимали, зачем отправляют их как раз перед тем, когда они будут нужны. Но генерал Ушаков, передававший им приказ главнокомандующего, ответил неопределенно:

— Лучше всего вам уйти отсюда теперь, пока не поздно... Мало ли что может быть тут через какие-нибудь два часа?

И сестры пошли через мост, вооруженные госпитальными образами. Это было похоже на крестный ход, потому что за сестрами шли раненые, способные хоть кое-как двигаться.

Иные, с подвязанными к шее руками или совсем однорукие, помогали тем, которые тащились на костылях, а помогать нужно было: волны свободно перехлестывали через мост, и сильный ветер заставлял и крепконогих держаться за набухшие мокрые веревочные перила, чтобы не упасть, поскользнувшись, в бухту.

Много раненых все-таки осталось, и при них — врачи. Из врачей только нескольких взяли на перевязочный пункт Павловской батареи, где скопилось до шести тысяч человек, нуждающихся в их помощи: Корабельная, вся гремевшая, вся занавешенная густым дымом, вела свой последний и самый кровавый бой — смертный бой.

В полдень, как всегда, Хрулев у себя, в Павловских казармах, садился обедать с генералом Лысенко, когда вдруг рассмотрел в окно: к Малахову бежали французы.

— На коней!.. Штурм! — закричал он и выскочил из столовой.

«Судьба Севастополя» стояла уже у окна на четвертом этаже Николаевской батареи с видимой зрительной трубою около подслеповатых глаз и с невидимыми, но несомненными весами, на которых было взвешено, притом окончательно взвешено все.

«Судьба Севастополя» стояла в прохладе и безветрии, и если даже ничего не видела в свою трубу, все-таки твердо на этот именно раз убеждена была, что видит все и видит зорко не только то, что творится теперь кругом, но и то, что будет твориться вечером в этот день и ночью.

Все козыри, необходимые для твердости убеждения, были уже в руках у «судьбы Севастополя», а Хрулеву все-таки казалось возможным выбить эти козыри из рук судьбы.

— Благодетели, за мно-ой! — кричал он своим диковинным голосом, неизменно потрясающим солдатские сердца, и «благодетели», — главный резерв Корабельной стороны, — полки Шлиссельбургский и Ладожский, ринулись вперед сквозь облака дыма и пыли за белым конем командира, лихо сдвинувшего на затылок папаху.

Тогда Хрулев знал только, что штурм начался и что в дело брошены французским главнокомандующим огромные силы, притом одновременно и на Малахов, и на второй бастион, и на куртину между ними.

Малахов был ближе, но флага, большого синего флага, условного знака опасности и вызова подкреплений, не разглядел ни сам Хрулев, ни кто-либо другой из его адъютантов и ординарцев. Его и нельзя было разглядеть издали, потому что он был уже сбит в первый момент штурма; размышлять же по этому поводу долго было тоже нельзя, — время считалось секундами. И вот, решив, что на Малаховом штурм отбит, Хрулев взял направление на второй бастион, оставив Лысенко, человека исполинского роста, бывшего командира Брянского полка, с его брянцами и Елецким полком против Малахова на случай, если французы вторично пойдут на штурм.

Однако же на пути ко второму бастиону пришлось убедиться Хрулеву, что Малахов занят, — и не только Малахов: такие знакомые острые кепи, синие мундиры и красные штаны французов замелькали вдруг перед ним на улицах Корабельной, и в отряд, который он вел, полетели пули.

Это был 11-й линейный полк из бригады генерала Бурбаки, прорвавшийся сюда после того, как дивизия де Ламотт-Ружа овладела куртиной. Сам Боске руководил из ближайшей французской траншеи штурмом на этом участке, и на его глазах полки его друга Бурбаки, преодолев три ряда волчьих ям, одержали верх над защитниками куртины.

Хрулев едва успел отослать к Лысенко ротмистра Макарова, своего адъютанта, с приказом отбить Малахов курган, как самому ему пришлось отбивать Корабельную.

— Благодетели, в штыки!.. — И третий батальон Шлиссельбургского полка бросился на французов, не давая им занимать полуразбитые домишки, чтобы оттуда стрелять, как из траншей, на выбор, как это сделали другие французские солдаты шестого июня, здесь же, на Корабельной, прорвавшись через батарею Жерве.

В тесных кривых закоулках, между домишками, наполовину обращенными уже в мусор, началась схватка.

Французов набегало больше и больше: они уже захватили батарею, незадолго перед тем поставленную за второй оборонительной линией куртины, и штыковой бой был упорный. Но вот часто и четко загрели слева выстрелы легкой батареи, посланной сюда Сабашинским, и задние ряды французов не выдержали картечи и бежали, а передние были переколоты шлиссельбуржцами.

Вслед за батареей, лихо примчавшейся на выручку Корабельной, прибежали два батальона Севского полка; эти ударили на французов справа, со стороны Малахова.

— Ну вот, хорошо, севцы, севцы!.. Молодцы, севцы! — возбужденно кричал Хрулев.

Легкая батарея между тем осыпала свою же тяжелую батарею, облепленную французами, и те бросили пушки, которые считали уже было своею добычей...

Белый хрулевский конь, горячась, шел впереди четвертого батальона шлиссельбуржцев вслед третьему; четвертый вел сам заколдованный от снарядов и пуль генерал в бурке и папахе.

Этот конь был тот же самый, на котором в конце января приезжал Хрулев из-под Евпатории к Меншикову. Считал ли он, что он так же заговорен, заморожен от ран и контузий, как и его хозяин, который никогда за всю свою боевую жизнь не был ранен, но он всегда бодро и будто радостно даже чувствовал себя именно в жаркой перестрелке. Хозяин же его слишком много раз испытывал свою неустрашимость среди разных смертельных опасностей, чтобы поверить, наконец, в то, что его «не возьмет» ни бомба, ни ядро, ни пуля.

Натиск шлиссельбуржцев и севцев под его командой был стремителен, — французы бежали, даже не отстреливаясь. В несколько минут они были переброшены через ретраншементы куртины.

Но первый штурм дивизии Дюлака на второй бастион был уже к этому времени отбит, и Сабашинский двинул в промежутки между второй и первой линиями куртины сразу несколько батальонов.

Французы были выбиты с большими потерями; Бурбаки ранен.

Однако как раз в это время ротмистр Макаров прискакал с печальным известием, что генералу Лысенко не удалось отбить Малахов, что Брянский и Елецкий полки отброшены от горжи бастиона...

У Макарова, обычно спокойного, было теперь растерянное лицо, и даже непроизвольно дрожала левая бровь, но Хрулев переживал угар успеха: он только что гнал перед собой французов из Корабельной и дальше.

— Сейчас же скачите к генералу Сабашинскому, — торопливо сказал он Макарову, — передайте ему моим именем команду над шлиссельбуржцами, а Ладожский полк я возьму с собой... С богом!

И вот снова перед Ладожским полком, имевшим в строю тысячу четыреста штыков, гарцует белый конь и гремит потрясающая хрулевская команда:

— Благо-де-тели, за мно-ой!

XI

Каждый из севастопольских бастионов представлял собою укрепление

замкнутое. Вход в это укрепление с тыла, — горжа — горло бастиона, — был обыкновенно узок и хорошо защищен на случай прорыва противника где-нибудь в другом месте линии обороны и захода его в тыл.

Направо и налево от горжи Малахова высился бруствер в семь метров надо рвом такой же глубины; толщина бруствера была в пять метров.

И в то время как ураганный огонь артиллерии французов сровнял с землей бруствер Малахова с фронта и засыпал ров, здесь все было в целости; зиял непроходимый ров, сурово глядел вал, готовый встретить врага, если бы вдруг он появился с тыла.

Но встречать ему, насыпанному руками русских солдат, пришлось своих же. Передовые батальоны дивизии Мак-Магона, смяв модлинцев и прагцев, быстро докатились до горжи и заняли валы и все постройки бастиона перед валами.

Они могли это сделать: за ними, передовыми, беспрепятственно вливалась на курган вся дивизия. И когда Лысенко, по приказу Хрулева, повел своих брянских и елецких выручать Малахов, банкеты валов с той и другой стороны горжи были уже полны французских стрелков.

Проход в горже был не шире десяти шагов. Жестоким перекрестным огнем были встречены брянцы, пытавшиеся сквозь эти ворота пробиться на площадку бастиона. Лестниц не было. В тех, кто набились в ров, сыпались сверху, с высоты четырнадцати метров камни и осколки снарядов.

Брянцы пытались карабкаться по стене рва на вал, подсаживая один другого, но обрывались. Ров наполнялся телами убитых и тяжело раненных. Держаться было нельзя. Остатки брянцев отхлынули, наконец, к домишкам позади горжи, отсюда ведя бесполезную перестрелку с алжирскими стрелками, когда появился Хрулев, а за ним Ладожский полк.

— Михаил Захарыч! Что? — крикнул, не дожидаясь рапорта, на ходу коня Хрулев Лысенко.

Он знал, что этот медлительный с виду человек был впереди своих брянцев шестого июня, когда отбивали они третий бастион от натиска англичан. Контуженный как раз накануне штурма, он, сильно хромая,

опирался на палку, но все-таки не пошел на перевязочный, остался прекрасной мишенью не только для снайперов, а для всех рядовых стрелков, так как на голову выше был самого высокого из своих солдат, даже и из задних рядов видный им, как знамя полка, и уцелел. И вот теперь он стоял, начальник 9-й дивизии, с посеревшим запыленным лицом, и говорил, приложив к козырьку толстые дюжие пальцы:

— Понесли очень большие потери, не приведенные еще в известность... Не было штурмовых лестниц... И если бы хоть два легких полевых орудия, — ничего не было!

Он оправдывал своих отхлынувших солдат, — не себя. Косясь на локоть его, белый хрулевский конь сочувственно кивал головою.

С того места, где остановил Ладожский полк Хрулев, видно было горжу и тела убитых брянцев, валявшихся густо на подступах к ней.

— Думаете, что нельзя уже будет выбить французов? — сквозь зубы спросил Хрулев.

— Одной пехотой, без артиллерии, без лестниц... думаю, что нельзя, — посмотрев еще раз на горжу, ответил Лысенко.

— Хоть и нельзя, а надо, — раздраженно крикнул Хрулев. — Надо!.. И должны выбить!

Он ли не знал, что одиннадцать месяцев громили Малахов французы для того, чтобы овладеть им в этот день? Он ли не знал, что укрепления не берутся с налета, если они сделаны, как надо, а тыловые части Корниловского бастиона строились так же хозяйственно, как и фронтовые?

Он знал это не хуже Лысенко, но только что, всего несколько минут назад, шлиссельбуржцы под его командой выбили французов из Корабельной и куртины... и вот генерал-партизан, разгоряченный успехом, уже командует ладожцами:

— По-олк, в колонны по отделениям стройся!

По отделениям потому, что больше шести человек в ряд не в состоянии были бы и пройти сквозь узкое горло бастиона.

Он повел полк сам, повел яростно и в то же время просто, как к себе домой, где и стены должны помочь выгнать захватчиков. Своего белого он оставил, набросив на него бурку как попону, спешили и

ординарцы, бывшие с ним, — подпоручики Сикорский и Эвертс.

Полк шел напролом в горло бастиона. Мысль о том, чтобы без лестниц взобраться из трехсаженного в глубину рва на трехсаженный в высоту бруствер, Хрулев отбросил сразу, как явно нелепую; но врезаться штыковым ударом в стену французов — живую стену, и выбросить их с площадки дружным единым натиском — это представлялось ему возможным: за ладожцами должны были идти елецкие, за елецкими — брянцы, сколько их осталось, за брянцами — севцы, а в тыл французам в это время будут лететь снаряды с третьего бастиона и с куртины. Он заметил, что с двух этих участков линии тыла уж открыта пальба по Малахову: на третьем только что была в это время отбита атака англичан, куртина тоже была очищена от последних французов. Сдвинув папаху на затылок, с открытым для пули лбом, с горящими глазами, черноусый и без кровинки в лице от охватившего его волнения, вел ладожцев Хрулев. Первый батальон вытянулся длинной, быстро ползущей змеей. Барабанщики били, солдаты ставили ноги безукоризненно в такт барабанам, но чем ближе подходили к горже, тем трудней становилось соблюдать шаг: тела брянцев не были убраны.

А бруствер вправо и влево от горжи сделался сплошь зубчатым от острых кепи линейцев, от малиновых фесок зуавов и алжирских стрелков, между тем как самый проход на бастион казался издали заманчиво свободным: снаружи он не был занят французами.

Можно было подумать, что все эти бесчисленные стрелки, стоявшие сзади вала на банкете, просто любят отвагой нового русского полка, так самозабвенно шедшего на штурм своей же твердыни: они подпустили ладожцев очень близко, но только что, обернувшись на ходу и подняв правую руку, Хрулев дал знак и крикнул «ура!», как раскатился первый залп.

Хрулев увидел, как около него повалилось сразу несколько солдат, и в то же мгновение почувствовал пронизавшую все его тело сильную боль в руке: пуля оторвала ему большой палец с куском ладони.

Первая в его жизни рана, она изумила его до того, что он остался на месте, зажав левой рукой правую, точно мог этим остановить и кровь и боль.

Обегая его и крича, штыки наперевес, бурлили солдаты, стремясь в горжу, но они попадали под рассчитанный перекрестный огонь. Перепрыгивая через упавших, но чаще наступая на них, ладожцы все-таки рвались вперед, и не один десяток их прорвался на площадку бастиона, выставляя штыки.

Французы отступали, стреляя; пальба шла отовсюду: с крыш блиндажей, с ядер, собранных в четырехугольные кучи, с подбитых лафетов, сваленных здесь для починки, с широких banquetов бруствера наконец, где стрелки могли помещаться в три ряда.

Этих стрелков с черными козыми бородками было много, — ими густо пестрела вся площадка, — цель же была одна: несколько десятков прорвавшихся русских солдат...

А из руки Хрулева лилась кровь, — он чувствовал, что слабеет, что голова его мутится.

— Поддержите меня, — обратился он к Сикорскому.

И оба ординарца, обхватив его в пояс, повели его в тыл, где стоял белый, укрытый буркой, и где приводил в порядок брянцев Лысенко.

— Михаил Захарыч, примите команду: я ранен, — сказал Хрулев, которому Сикорский наскоро бинтовал руку своим платком.

При этом Хрулев кивнул папашой туда, откуда он только что вернулся и где пятились назад ладожцы, вступив в невыгодную для себя перестрелку, так как прикрытия были не у них, а у французов.

Заботливо наклонившийся было к ране Хрулева, щуря голубоватые, выпуклые, слегка близорукие и с натруженными, не то запыленными, красными веками глаза, Лысенко выпрямился, развернул грудь. Толстые пальцы его поднялись к козырьку; он сказал: «Слушаю!» — и тут же, оставив Хрулева и брянцев, зашагал к горже.

А через пять-шесть минут, едва вступив в толпу ладожцев перед горжей, он рухнул, пронизанный двумя пулями над сердцем...

Ладожцы отступали, провожаемые залпами французов, которые не решались все же выходить за пределы горжи, опасаясь принести на Малахов русских на своих плечах.

XII

Хрулева, который оказался еще и контуженным в голову, чего сгоряча

не заметил, ординарцы его поспешили усадить на коня и отконвоировать в Павловские казармы, на перевязочный пункт, так что он не видел, чем окончился новый штурм горжи Малахова; а смертельно раненный Лысенко едва успел передать команду пришедшемуся около него деятельному защитнику Севастополя с первых дней осады, капитан-лейтенанту Ильинскому.

Но Ильинский, как моряк, чувствовал себя не на месте перед пехотными солдатами, обескураженными неудачей штурма, сбившимися в кучи возле домишек. При солдатах остались только младшие офицеры, а около Ильинского — два ротмистра: Макаров, вернувшийся со второго бастиона, и флигель-адъютант Воейков, которому удалось вовремя покинуть Малахов.

Как раз в это время шел новый штурм второго бастиона и куртины дивизиями Дюлака и де Ламотт-Ружа и третьего бастиона — войсками Кодрингтона.

— Положение очень трудное, — говорил обоим ротмистрам Ильинский, сидевший на маленьком казачьем коньке. — Мне кажется, самое лучшее просить у главнокомандующего настоящего начальника — пехотного генерала, и свежих войск.

К Горчакову с докладом отправился Макаров, а Воейков разглядел в стороне генерал-майора Юферова, ехавшего верхом со стороны батареи Жерве, и вскрикнул радостно:

— Вот и начальник!

Юферов всего за несколько дней перед тем был ранен. Рана, хотя и была легкая, — он остался в строю после перевязки, — все-таки саднила, ныла, как больной зуб, мешала спать.

Вид у него был нездоровый, усталый: на запыленном лице выделялись темные круги под черными глазами, блестящими лихорадочным стеклянным блеском, щеки втянулись, нос заострился. Это был серьезный, очень начитанный человек, художник, любитель музыки, хорошо игравший на фортепиано.

Когда Ильинский обратился к нему:

— Ваше превосходительство, примите начальство над войсками на этом участке... — он ответил, точно его пригласили на обед:

— С удовольствием.

При этом от неловкого движения его в седле очень заявила о себе вдруг рана; он невольно поморщился и добавил гораздо более пониженным тоном:

— С большим удовольствием.

И только после этого задал Ильинскому несколько вопросов по сути дела, потом повернул лошадь к солдатам ближайшего Ладожского полка и прокричал:

— Слушать мою ко-ман-ду!

Найдя начальника, Воейков тут же напросился на смелый маневр: набрав команду охотников, атаковать Малахов справа, со стороны батареи Жерве. Ильинский тут же поддержал его:

— Прекрасно! Вы — справа, а я в таком случае — слева, от куртины!.. Только послушайте моего доброго совета, — слезьте с вашей лошади, когда пойдете на штурм, а то недолго на ней усидите.

— А вы тоже слезете со своей? — любопытствовал ротмистр.

— У меня разве лошадь? — весело удивился Ильинский. — У меня котенок, а у вас целый мастодонт!

Лошадь Воейкова действительно была большая. Набрав с разрешения Юферова команду в несколько десятков человек, чтобы отвлечь внимание французов от атаки с фронта, Воейков принял совет Ильинского, оставил лошадь и пошел впереди своего отряда пешком.

Назад потом принесли его с простреленной грудью. Пуля застряла в позвоночнике, и жил он еще только два дня. Ильинский, которому также не удалась атака Малахова с фланга, остался невредимым, хотя и не спешивался; а генерала Юферова ожидала другая доля.

Он тоже пошел впереди своего большого отряда охотников, оставив лошадь. В руке у него была кавказская шашка.

Свой отряд он рассыпал, чтобы меньше было потерь. Только по взмаху его шашки должен он был сбжаться к нему для штурма.

Отряд, конечно, был встречен самой частой ружейной пальбой, но пули миновали Юферова. И сквозь горжу, по трупам павших, пробилась большая часть отряда, на поддержку которого уже готовился идти сборный батальон от трех раньше ходивших на штурм этой же дорогой полков; но французы приготовились встретить русских.

Несколько быстро следовавших один за другим залпов, и наполовину был уничтожен отряд, а сам Юферов прижат был с несколькими солдатами к одному из траверсов на площадке бастиона.

Его хотели взять в плен.

— Сдавайтесь, генерал! — кричал ему офицерзуав.

— Русские генералы в плен не сдаются, — отвечал Юферов.

Такое предпочтение смерти плену поразило зуава, и он приказал своим солдатам непременно обезоружить и захватить русского генерала как лестный приз.

Но Юферов умел действовать шашкой, и попытка эта дорого стоила зуавам. Его закололи, наконец, штыками, но фамилия его долго оставалась неизвестной любознательным французам, точно так же и русские не знали обстоятельств его смерти.

Только несколько месяцев спустя, уже после заключения мира, кое-кто из французских офицеров узнали, наконец, кто из русских генералов предпочел умереть, но не сдаваться, погиб в бою у горжи Малахова, и удивились, что в России не позаботились внести Юферова в списки героев.

Юферов был четвертым генералом, выбывшим из рядов русской армии в этот день на Малаховом. Пятым же оказался Мартинау, которого прислал сюда Горчаков после доклада ротмистра Макарова.

Едва оправившийся от раны, полученной в сражении на Черной, Мартинау был снова ранен пулей в плечо, чуть только подъехал к полкам, оставшимся без начальника.

И когда, — это было уже в четвертом часу, — сюда прибыл генерал-лейтенант Шепелев, посланный Горчаковым с тем, чтобы решить на месте, можно ли отбить у французов Малахов, то решение его было именно такое, какого хотелось Горчакову: штурмовать можно, но успеха ожидать нельзя.

— Можно ли взять обратно Малахов? — обратился Горчаков и к другому генералу, вернувшемуся в Николаевские казармы с Корабельной, — князю Васильчикову.

— Можно, — ответил Васильчиков, — но для этого надобно положить тысяч десять.

— Много, много! Что вы! — замахал на него руками Горчаков.

— Может быть, обойдется и меньше, — невозмутимо согласился Васильчиков, — но что же потом, если даже будет отбит Малахов? Начнется новая бомбардировка, и только.

— И только! — повторил Горчаков, пожал плечами и поехал на Корабельную сам.

XIII

К этому времени штурм был отбит уже везде и на Южной стороне и на Корабельной, кроме Малахова, а бомбардировка гремела яростно всюду.

К этому времени и сам Боске решил перейти на Малахов, чтобы убедить солдат корпуса в том, что курган не минирован русскими, и если даже и минирован кое-где местами, то мины эти взорваны не будут и опустошений в рядах войск не вызовут.

Поводом же к усиленным толкам о минах послужил взрыв небольшого порохового погреба от бомбы, пущенной с третьего бастиона. От этого взрыва погибло несколько десятков французов, а несколько сот кинулось стремительно с кургана к своим траншеям, и Мак-Магону стоило большого труда вернуть их и успокоить.

Этот взрыв погреба на Малаховом испугал и самого Пелисье, бывшего на Камчатке. Волнуясь, он говорил своим штабным, что если Малахов и другие бастионы, которые могут быть взяты на следующий день, минированы и принесут большие потери союзным войскам, то он прикажет расстрелять всех пленных в виду русской армии.

Боске же был убежден в том, что взрыв на Малаховом — простая случайность, возможная и часто бывавшая и на французских батареях. Появившись на Малаховом, он благодарил полки дивизий Мак-Магона, потом по его приказу был расстелен ковер для обеда генералов в присутствии солдат: этот обед должен был окончательно доказать колеблющимся, что Малахов вполне безопасен от мин.

Перед обедом Боске со свойственной ему проницательностью сделал открытие первейшей важности. Присмотревшись к мосту через рейд, он заметил, что по нем с Северной стороны шли, как это бывало ежедневно в последнее время, артельщики с корзинами и мешками для ротных кухонь. И вдруг кто-то остановил вереницу их посередине

моста, и после недолгой остановки они повернули обратно.

— Господа! Знаете ли что? — вскричал экспансивный Боске, обратясь к окружающим. — Я готов держать какое угодно пари, что русские не станут отбивать у нас Малахова! Совсем напротив, — они приготовились угостить ужином гарнизон Севастополя там, на Северной стороне!

Это открытие чрезвычайно обрадовало прежде всех других самого Боске, но радоваться ему пришлось недолго: разорвавшимся около снарядом, пущенным с батареи Будищева, французский Ахилл был ранен в плечо и бок с надломом ребер.

Некоторое время он и лежа пытался еще отдавать приказания, наконец, обессиленный, был на носилках отправлен в тыл, — девятый французский генерал, выбывший в этот день из строя.

Что русские не собираются пока отбивать обратно Малахов, в этом убедились Мак-Магон и другие из высшего начальства на кургане, увидя, что части полков, бывших перед горжей, начинают отходить, очищая и траверсы впереди домишек и самые домишки. Как раз перед этим Боске приказал забаррикадировать горжу фашинами, старыми лафетами, телами убитых; но теперь оказалось, что в этом не было нужды.

Горчаков приехал на Корабельную не затем, чтобы распорядиться лично войсками, там собранными, и направить их на штурм Малахова. Он хотел только лично своими глазами увидеть то, в чем придется на следующий день давать отчет царю. Донесение в общих чертах складывалось уже в его голове, — нужны были только яркие, убедительные детали. Складывался также и приказ по армии, но в нем не хватало каких-то сильных слов, рождения которых он ожидал там, на месте подвигов русских солдат и офицеров пехотных частей, матросов и офицеров флота.

Но самое важное для него было все-таки самому убедиться в том, что шаг, который он вот сейчас делает, действительно необходим.

По донесениям выходило, что из двенадцати штурмов, предпринятых противником в этот день, отбиты с большими потерями для него одиннадцать, — и это несомненная победа русской армии; не отбит же только один, и это, конечно, поражение, но разве один неотбитый

штурм способен перевесить одиннадцать отбитых?

К очищению Южной и Корабельной сторон все уже было им приготовлено: и мост через рейд, и баррикады на улицах, и минные работы для взрывов, и, наконец, гораздо более, чем оставляемые бастионы, сильные укрепления Северной стороны. Но в то же время ведь всего только один штурм оказался неотбитым, всего только один бастион с прилегающими к нему двумя батареями занят, — не мало ли этого для того, чтобы покидать остальные? Что скажет царь? Что скажет свет? Что скажет Россия? Европа?..

Бомбардировка гремела со всех сторон, всюду рвались снаряды, — отнюдь не безопасной была поездка Горчакова на Корабельную, — напротив, каждую минуту он рисковал жизнью, а ему, главнокомандующему, гораздо умнее было бы стоять или сидеть у окна на четвертом этаже Николаевского форта, но он снова пришел в волнение.

Холодная решительность, так удивившая в полдень и Коцебу и всю его свиту, уступила опять место обычной для него нервозности.

Как после проигранного им сражения на Черной речке всем приближенным его казалось, что он, прогуливаясь под огнем противника, сознательно ищет смерти, так же точно было с ним и теперь.

Найдя генерала Шепелева и выслушав его доклад, что атаковать Малахов — значит идти на очень большие жертвы людьми без уверенности в победе, Горчаков тут же с ним согласился и довольно решительно дал ему приказ стянуть все войска Корабельной стороны к линии первых баррикад (на Корабельной были две линии баррикад) и защищать эту линию до последней возможности, если противник перейдет в наступление. При этом все очищаемые укрепления там, где они минированы, приказано было взорвать, орудия привести в полную негодность.

Донесение царю было уже заготовлено в квартире Остен-Сакена; здесь, на месте, Горчаков решил, что приведенных в нем доводов к очищению Южной и Корабельной достаточно, и бывший при нем адъютант военного министра князь Анатолий Барятинский был послан с этим донесением в Петербург, к царю.

И все-таки тут же после такого решительного шага он, спешившись, тонкий, длинноногий, сгорбленный под тяжестью взятой им на себя ответственности за оставление Севастополя, одиноко и совершенно бесцельно, глядя себе под ноги, бродил по узеньким улицам Слободки, загроможденным мусором разбитых домишек, развороченным снарядами и, главное, обстреливаемым с Малахова.

Думать ему, конечно, было о чем, и прежде всего о том, как примут бойцы на бастионах и редутах, только что блестяще отбившие штурмы, его приказ об отступлении. Ведь выходило так, что то самое, за что боролись одиннадцать с половиной месяцев, а если считать со дня высадки десанта союзников в Крыму, то все двенадцать, то самое, обильно политое русской кровью и не взятое с бою противником, теперь должно быть отдано ему без бою... И что делать, если солдаты не поверят этому приказу? Что, если скажут они в ответ на этот приказ жестокое слово: «измена»? И может быть, будет какая-то доля правды в этом жестоком слове?

Горчаков, прогуливаясь так самозабвенно и одиноко по улицам Корабельной, не пытался, конечно, представить себя со стороны; решая свои вопросы, действительно тяжелые не только для его личного самолюбия, он и не думал о том, каким кажется теперь другим он, главнокомандующий русской армией не только одного Крыма, но и всего юга России. Наконец, полковник Меньков, его адъютант, испугавшись за его жизнь, позаботился о том, чтобы вывести его из лабиринта тяжких размышлений и Корабельной слободки, посадить его снова на лошадь и направить в сторону Николаевских казарм.

Приказ же Горчакова очистить бастионы и отвести войска на Северную действительно поразил гарнизон: ему не хотели верить даже офицеры, не только солдаты.

Горчаков потому-то именно и остался в одиночестве на Корабельной, что разослал всех своих адъютантов и ординарцев по бастионам и редутам одновременно. Однако старшие офицеры на укреплениях не решались даже и передать во всеуслышанье своим подчиненным приказ главнокомандующего: они посылали на соседние бастионы справляться — неужели и там получен тоже такой нелепый приказ. Но с приказами об отступлении разъезжали и адъютанты Сакена.

Особенно негодовали на Южной стороне, а солдаты, возбужденные только что одержанной победой, кричали, как и предполагал Горчаков: «Измена, братцы, измена!»

Но и в самой середине прочно занятого французами Малахова, в башне, кучка солдат Модлинского полка и матросов, с несколькими совсем молодыми офицерами и кондукторами флота тоже не хотела верить, что Малахов не только не отобьют, даже и отбивать не станут большими силами, что их не выручат, что им остается только один из двух выходов: или смерть, или плен.

После незавершенной попытки выкурить их по-африкански дымом и другой попытки — взломать потолок башни — их приказано было оставить пока, так как уйти они никуда не могли. Особо поставленные в закрытых местах часовые предупреждали проходившие мимо команды, что из башни стреляют, и команды старались держаться траверсов, способных защитить их от неустанно летевших через бойницы пуль.

Так дотянулось до шести часов вечера, когда всем на кургане стало ясно, что русские нападать на них не собираются, что открытие Боске вполне похоже на правду. Только тогда и решено было покончить с досадной кучкой храбрецов в башне, прибегнув к артиллерийскому обстрелу.

На ближайшем к дверям башни траверсе соорудили закрытие из туров для артиллерийской прислуги, втащили туда орудие и начали бить в двери гранатами.

Этого не ожидали в башне, но первую гранату обезвредили, залив ее водой; зато вторая взорвалась и ранила несколько человек, между ними и Витю Зарубина в ногу, впрочем без повреждения кости.

Тогда поручик Юни, как старший, прокричал своим:

— Объявляю дальнейшее сопротивление бесполезным! Кладем оружие!

Витя был занят перевязкой своей раны, для чего пришлось оторвать рукав рубашки и разорвать его пополам вдоль при помощи зубов, и отказался выступить парламентаром, что предложил ему сделать Юни. Кондуктор Венецкий, который был тоже ранен и тоже скинул с себя рубашку для перевязки, воткнул рубашку на штык и выставил это в

дверь, как белый флаг. С траверса спустился французский офицер и подошел к двери.

— Сдаетесь? — спросил он.

— Мы — ваши пленные, — ответил Венецкий.

— Отчего же вы не сдавались раньше? — проворчал француз. — Это давно бы уж нужно было сделать... Прикажите своим людям сложить здесь, перед дверью, свое оружие.

Так стали пленниками французов четыре офицера, два кондуктора флота и человек тридцать, в большинстве раненых, матросов и солдат-модлинцев — последние защитники Малахова кургана.

— Ах, черт! Если бы я не заснул здесь... — горевал Витя, обращаясь к незнакомому ему до этого дня поручику-модлинцу, распорядившемуся сдачей.

Но чернявый, похожий на грека Юни, высоко вздернув левое плечо и делая затяжную гримасу, отозвался ему снисходительно:

— А что же такое могло бы с вами случиться, если бы вы не заснули здесь?.. Валялось бы, может быть, ваше тело где-нибудь во рву, и по нем пробежало бы пятьсот человек.

— У меня здесь все родные — в Севастополе, не понимаете вы! Отец, мать, сестры... эх! Что они будут думать?

— Напишите им из плена, вот и будут думать, как надо, — рассудил Юни.

По обилию французских войск на Малаховом Витя решил, что все уже кончено, что то же самое и на других бастионах, что Севастополь взят. К бывшей Камчатке, куда отправляли пленных французы, он шел совершенно подавленным. Рана на ноге заставляла его хромать, но он не чувствовал особенно резкой боли: боль за Севастополь, за неудачу своей армии все-таки была гораздо сильнее. И все шли подавленные, не один он.

Однако уже по дороге к Камчатке, оглядываясь на хорошо знакомые ему бастионы Корабельной, Витя видел, что бастионы эти в русских руках. Он обратился к конвоировавшему их французскому офицеру, который был старше его, может быть, всего только тремя годами, и тот подтвердил его догадку, и сразу, узнав это, повеселела вся партия пленных.

А на Камчатке о них, последних защитниках знаменитого Малахова кургана, было доложено самому Пелисье, и с большим любопытством смотрел Витя на этого приземистого человека с заурядным, хотя и энергичным лицом, с сильной проседью в усах и эспаньолке.

Пелисье был в мундире с одинокой звездой Почетного легиона. Он был, видимо, очень доволен успехом на главном пункте штурма и успел уже поверить в открытие Боске, что русские собираются покинуть бастионы и город.

Поэтому совершенно неожиданно для Вити он, обратившись к ним, назвал их бравыми молодцами, сказал, что раненых из них будут лечить и даже что он принимает на себя обязательство обратиться с письмом к князю Горчакову, чтобы тот достойно наградил всех их за храбрость.

Глава седьмая. Переправа на Северную

I

Когда вице-адмирал, начальник штаба Черноморского флота Корнилов вынужден был подчиниться приказу адмирала, командующего всеми морскими и сухопутными силами Крыма, светлейшего князя Меншикова, приказу, воспрещающему флоту вступать в бой с флотом противника, приказу, обрекающему весь флот на бездействие, а часть его даже на уничтожение к явному торжеству враждебной эскадры, то он, Корнилов, отважный человек, участник не одного морского боя, заплакал.

— Это — самоубийство, что приказываете вы, — говорил он тогда Меншикову, — но... я обязан подчиняться вам, и я... подчиняюсь...

Когда солдаты и матросы на бастионах, редутах и батареях убедились в том, что совсем не «измена» этот приказ очистить укрепления, отдать их врагам без боя, взорвать то, что защищали они, не щадя своих жизней долгие месяцы, укрепления, на сажень в глубину пропитанные кровью павших на них товарищей и через это ставшие святынею русского народа, то многие из них заплакали... А старые матросы рыдали, ругая при этом и Сакена и Горчакова.

Это были слезы мужественных людей, всегда готовых к какому угодно увечью и к смерти за то, что доверено было родиной их защите, и ведь только что, всего два-три часа назад, дрались они за эти бастионы и редуты и отбросили врага!.. Это были слезы кровной обиды, которую нужно было перенести молча. Тут воинская честь столкнулась с военной дисциплиной и должна была уступить ей.

Отвод полков начался часов в семь вечера под прикрытием орудийного дыма и неумолкающей ружейной пальбы, поднятой немногими стрелками, оставленными в целях ввести в заблуждение противника везде вдоль линии обороны.

Некоторые части, впрочем, стояли в резерве на случай, если противник в заблуждение введен не будет и начнет наступление.

Команды матросов и саперов явились на бастионы, чтобы подготовить на них пожары и взрывы и привести в полную негодность орудия.

Батарею в семнадцать крепостных орудий, стоявшую на Павловском мыске, против Павловских казарм, приказано было сбросить в бухту, но никто из строевых солдат не решался посягнуть на свою артиллерию.

— Что же это такое? Топить, стало быть, как все одно щенят? — говорили они. — Мысленное разве дело, чтобы такое приказание кто отдал?

Только ординарец Хрулева, прапорщик Степанов, которого послал сам Хрулев, набрав писарей из штаба, кое-как выполнил этот печальный приказ.

Начинало уже смеркаться, когда по точному расписанию, над которым много трудились Тотлебен и Васильчиков, полки, вызванные в этот день с Инкермана в помощь гарнизону крепости, стали стягиваться к Николаевской площади.

Орудийный дым к тому времени разогнало уже сильным ветром, продолжавшим дуть с моря, а света, хотя и после захода солнца, было еще вполне достаточно, чтобы союзники заметили движение больших пехотных частей по улицам с разрушенными больше чем наполовину домами.

Это вполне подтверждало открытие Боске, однако Пелисье не отдавал

приказа о наступлении: он опасался, что улицы минированы, что отступающие везде оставляют гальванеров Аникеевых, у которых даже и полгода назад заложенные фугасы будут действовать исправно и грозно, как перед люнетом лейтенанта Белкина.

К одиннадцати часам вечера Николаевская площадь была сплошь покрыта ротными колоннами, но Горчакову все казалось, что еще недостаточно темно для переправы через рейд по мосту; кроме того, ветер не слабел и гнал на мост волны, так что можно было опасаться, сумеют ли войска перейти по мосту по колено в воде.

Наконец, около полуночи начальник курского ополчения генерал Белевцев назначен был следить за порядком переправы, и движение войск на Северную началось.

Еще засветло приказал Горчаков затопить все парусные суда, и матросы застучали в их трюмах топорами, открывая заделанные пробоины. Однако корабли, переживши почти годовую осаду, медленно, будто удивленно, погружались в воду. Некоторые из них вполне затонули только к утру... как раз в тот день, когда в Черное море вошли новые военные суда французов — броненосцы.

Светящиеся снаряды, пущенные с неприятельских батарей, дали знать интервентам, что гарнизон отступает по большому мосту через рейд, и поднялась учащенная стрельба, но мост почему-то оставался неуязвимым: ядра и бомбы давали то перелеты, то недолеты, и гранаты рвались над водой...

По колени в воде и с головы до ног обдаваемые брызгами бившейся о бревна волны, как под дождем, вброд шли целую ночь солдаты многих полков — целая армия, отнюдь не побежденная и все-таки отступающая.

Мост длиною в версту — узкий настил бревен и досок, скользкий, гнущийся под ногами — того и гляди утонет или уплывет из-под ног, и вот плыви тогда в полном снаряжении, кто как умеет, а глубина рейда посредине — четырнадцать сажен.

Шли угрюмо. Иногда кричал кто-нибудь из записных ротных шутников, звонкоголосый:

— Братцы! Мост никак лопнул!

Но шутки не оживляли. Шли и ворчали под нос:

— Лопнул, и черт с ним! Назад пойдем, когда такое дело...

Ретиво взявшийся было устанавливать порядок движения, скоро охрип от крика генерал Белевцев. На мост стремились попасть фурштатские тройки, коляски, подводы, груженные крупой, мукой... Кто-то сокрушался, что останется на складе сорок пять голов сахару, и приставал к Белевцеву, чтобы дал он приказание фурштатам его забрать, а Белевцев отвечал хрипуче и с полным отчаянием:

— Ах, как же вы не поймете, что это совсем не мое дело, совсем не моя обязанность, совсем, ну, совсем... Сахар какой-то, когда тут войска, — черт знает что!

Толпились около пристани и обыватели с узлами, те самые бесстрашные матроски, которые поили водой солдат на третьем бастионе и на Малаховом; они теперь тоже покидали Севастополь, который уже горел подожженный не чужими бомбами и ракетами, а своими серняками, в котором на бастионах то здесь, то там оглушительно взрывались пороховые погреба, держа противника в отдалении, называемом почтительным.

Сам Горчаков был в это время в Николаевских казармах, и все генералы его штаба — Ушаков, Бутурлин, Сержпутовский, Бухмейер — были при нем. Коцебу как начальник штаба деятельно писал, подготавливая подробное донесение царю, в которое включались теперь уже и строки о переправе гарнизона... Покончив с этим, он набрасывал вчерне приказ по армии в связи с окончанием обороны Севастополя.

Он сидел отдельно за письменным столом Остен-Сакена; на его небольшом подвижном личике, тускло освещенном оплывающими свечами, видна была такая озабоченность, что даже Горчаков, обращаясь к кому-нибудь из генералов с вопросом, старался говорить вполголоса.

В обширном кабинете Сакена находилось много генералов, кроме штабных: тут были и Семякин, и Хрущов, и Шульц — начальник второго отделения, в которое входил четвертый бастион, и другие, а также адмиралы Новосильский, Панфилов, но все они сидели в креслах или на стульях; иные из них даже дремали, одолеваемые усталостью.

Один только Горчаков беспокойно ходил взад и вперед по комнате, звякая шпорами. Иногда он подходил к окну, в которое ничего, кроме темноты, не было видно, и задавал беспокоивший его неотступно вопрос то Семякину, то Шульцу, то Хрущову:

— А вдруг противник начнет нас преследовать на рассвете, а мы до утра не успеем переправить войска, а?

Один, вздрогнув от прерванной дремоты и уловив только окончание вопроса, отвечал успокоительно:

— Успеем, ваше сиятельство! Перейдем авось.

Другой, также вздрогнув и мгновенно поднявшись, отвечал на первую половину вопроса, не уловив вторую:

— Раз противник отбит, то он ведь не решится преследовать, ваше сиятельство.

То и дело посылал главнокомандующий то одного, то другого из своих многочисленных адъютантов и ординарцев посмотреть и доложить потом немедленно, что делается на мосту и в других пунктах переправы, и то и дело открывались и закрывались двери.

Войска же переправлялись всеми возможными средствами, кроме моста: все, что могло передвигаться по воде при помощи пара или весел, служило этой цели.

Один из иностранных военных писателей того времени назвал отступление многотысячного севастопольского гарнизона «гениальным по выполнению, равным гениальному штурму Малахова кургана».

Конечно, ни в том, ни в другом из этих двух военных действий — ни в наступлении на Малахов, ни в отступлении армии из Севастополя — не было ничего гениального, но во всяком случае одно стоило другого по той степени продуманности, кропотливости и упорства, с какою были они проведены, а помешать отступлению, совершенному в темную ночь, Пелисье так же не мог, как не мог славный гарнизон Малахова помешать целой дивизии французов, сосредоточенной в нескольких десятках шагов от переставших существовать укреплений, занять единым неожиданным броском курган.

Когда через мост прошли крупные воинские части, Белевцев пустил легкую полевую артиллерию, потом фушштатские тройки, подводы, и по мере того как подходили новые полки и команды из тех, которые

оставались прикрывать отступление, мост принимал их. Последним переправился на тот берег, к Михайловскому форту, Одесский полк, занимавший баррикады на Корабельной, — это было уже в седьмом часу утра, — а перед ним прошел через мост Тобольский полк, простоявший всю ночь на баррикадах Южной стороны, исполняя личный приказ Горчакова не пропускать противника, хотя бы всем пришлось умереть на этом месте.

Пожары на бастионах, где горели блиндажи, и взрывы пороховых погребов производились методически, по плану, разработанному заранее, чтобы этих пожаров и взрывов хватило до полного рассвета, когда думали закончить и действительно закончили переправу.

Раненых, не способных двигаться, которых набралось несколько тысяч человек, перевезли на пароходах, работавших всю ночь, причем ни один из них не пострадал от артиллерийского обстрела.

Последний день обороны Севастополя был днем Горчакова, его удачи, — и, успокоившись, наконец, за судьбу гарнизона, он сам переправился на Северную, когда уже светало, когда город горел торжественно, как Москва в двенадцатом году, и когда из общего моря пламени в облако дыма вонзался вдруг ярчайший огненный столб и рассыпался, как фейерверк: это взлетали бомбы из бомбохранилищ.

Зато к концу ночи артиллерия интервентов совершенно умолкла.

Можно, конечно, без особого труда опровергнуть мнение об одинаковой гениальности действий Пелисье и Горчакова в день 27 августа — 8 сентября, но что день этот и для того и для другого был днем исключительной удачи, — это бесспорно.

Из генералов последними оставили Севастополь трое: князь Васильчиков, Хрущов и Бухмейер, — это было в семь утра.

— Ну что же, кажется, все уже перебрались? — обратился Бухмейер к Васильчикову, целую ночь распорядившемуся подтягиванием войск к мосту.

— По-моему, все уж, — ответил устало Васильчиков.

— Да ведь никто и не подходит сюда больше, — оглядевшись, сказал Хрущов.

— В таком случае я прикажу разводить мост, — решил Бухмейер, и люди, которые были подготовлены к этому заранее, принялись

разводить сооружение, сыгравшее в последнюю половину августа в Севастополе исторически огромную роль.

Как просто наводили этот мост, так же просто принялись и разводить его. С противоположного берега рейда, от Михайловского форта, к каждому из шести участков моста был протянут канат, и за каждый конец каната на том берегу взялось по сто человек солдат.

Первой была заворочена и оттянута в бухту пристань, идущая от Николаевского форта; когда ее потащили, перехватываясь руками, на другой берег, Бухмейер замахал платком, давая знать другой сотне рабочих, чтобы тащили другой участок, состоявший из четырнадцати плотов, а сам перешел на третий.

Так один за другим поплыли на Северную плоты, чтобы ни одного бревна не досталось интервентам. А на Северной плоты разобрали на другой же день и отвезли, так что французы были чрезвычайно удивлены потом, когда вошли в оставленные им руины Севастополя, которые еще дымились, не увидев не только диковинного моста через морской залив, сооруженного на их глазах со сказочной быстротой, но даже ни одного из бревен, которые они называли «чудовищными».

II

Дворянское собрание и красивый дом морской библиотеки, из которой все книги были своевременно вывезены на Северную стараниями моряков, огромный Павловский форт, морские казармы и другие здания больших размеров и разных назначений были взорваны командами матросов уже после того, как развели мост и кончилась переправа на пароходах, катерах, шаландах и яликах.

Теперь уже на все вообще здания оставленного врагам Севастополя смотрели с Северной стороны как на чужое имущество, а чужого, вражеского, было уже не жаль.

Напротив, каждый подобный, потрясавший землю взрыв, похожий на извержение вулкана, вызывал радостные восклицания солдат.

Десятки тысяч огромных тесаных белых камней, из которых выводились когда-то стены этих зданий, взлетали высоко в тучу черного дыма и потом падали на землю щебнем... А город пылал во всю свою ширину, «его» уже теперь город — противника.

Даже и Коцебу, наблюдавший с Северной эти взрывы и этот пожар, забыл на время и текст донесения в Петербург, и текст приказа по армии, и свое семейное горе — тяжелое ранение племянника лейтенанта.

Обращаясь к генералу Бутурлину, он говорил пискливо-возбужденно: — Какая картина, а? Вот это картина!.. Что же такое «Последний день Помпеи» Брюллова по сравнению с этой картиной!.. Ах, какая жалость, что нет теперь со мною моего брата! Какую потрясающую вещь мог бы он создать!.. Бессмертную, ни с чем не сравнимую!.. И вот я, не художник, все это вижу, а он... лишен этой единственной возможности в своем Мюнхене!..

Не только жгли и взрывали чужой уже теперь Севастополь команды матросов и саперов. Они обшаривали все сколько-нибудь сохранившиеся от пожара большие дома, принадлежавшие раньше состоятельным людям, и наскоро разбивали в них кирками все, что имело бы ценность для интервентов: зеркала, шкафы красного дерева, статуэтки, рояли... Лезли в погреба, нет ли где-нибудь еще запаса дорогих вин, чтобы часть вина наскоро выпить для подкрепления, остальное же — будь то бутылки или бочонки — перекрошить вдребезги, а потом уже чиркать серняками о шершавые стены или о подошвы своих сапог.

Если Москву в двенадцатом году никто сознательно не поджигал, а сгорела она, деревянная, просто от недосмотра за разводимыми на ее дворах кострами, как утверждают иные историки, то Севастополь, этот каменный город с черепичными крышами, был сожжен и взорван руками своих же защитников, чтобы одни только головешки и мусор достались врагам.

Уничтожали и жгли продовольственные склады — муку, крупу и тот самый головной сахар, о котором сокрушался кто-то ночью, ища и не находя способов и средств его вывезти. Действовали так команды матросов целый день 28 августа, не опасаясь, что могут захватить их передовые отряды союзников: союзники заняты были тем, что считали раны, причиненные им накануне, и не двигались с места. А когда с наступлением сумерек одиночным порядком и небольшими партиями стали проникать в оставленные развалины русской Трои мародеры-

зуавы, то единственное ценное, что могли они отыскать, были ордена Нахимова во взломанном ими склепе адмирала-героя, который при виде бревен, приготовленных для моста через рейд, говорил возмущенно: «Какая подлость!»

По-другому отнесся к этому Александр II, приславший строителю моста Бухмейеру «всемилодивейший рескрипт», в котором была фраза: «Ты спас мою армию!»

Но вслед за линейными кораблями пришел смертный час и пароходам, доставившим столько неприятностей интервентам за долгие месяцы осады.

И в день штурма, в последний день жизни Севастополя, четыре из них: «Владимир», «Херсонес», «Одесса» и потом «Громоносец», войдя в Килен-бухту, громили французов на подступах ко второму бастиону дальней картечью и гранатами; а два остальных — «Эльбрус» и «Бессарабия» — из Корабельной бухты обстреливали занятый Малахов... Маленькие, колесные, со слабой артиллерией, они имели удалые экипажи и лихих командиров.

Их затопили к вечеру 28 августа все, кроме «Херсонеса». Командир «Херсонеса», боевой капитан 2-го ранга Руднев, воспользовался тем, что волнение на рейде прибило пароход к мели, и он сел так крепко, что «Владимир», его постоянный товарищ по подвигам, хотя и долго и добросовестно трудился, чтобы стащить его с мели, все-таки не мог этого сделать.

Так и не удалось его утопить. Но зато приказано было адмиралом Юхариным сжечь его. Против этого приказа решительно восстал Руднев.

— Помилуйте, зачем же жечь нам свое добро? — резонно говорил он. — Не лучше ли разобрать его и лес пустить в дело на блиндажи, например? Да, наконец, если его и не разбирать даже, то чем он нам мешает, что лежит себе на боку? Отдыхает, и пусть себе отдыхает, — достаточно поработал и отдых свой заслужил... А впоследствии, может быть, нам он еще пригодится, как знать?

Юхарин махнул рукой на этот недотопленный остаток славного флота, и оказалось, что Руднев был вполне прав. Привалившийся набок к мели «Херсонес» так и пролежал весь остаток Крымской кампании, а

по заключении мира был поднят, чтобы снова резать бойкими колесами волны Черного моря.

Длиннейшее здание Николаевских казарм хотя и взрывалось наряду с другими, но пострадало от взрыва мало, что приписывали отчасти большой прочности этого сооружения, отчасти, и с большим вероятием, недостаточной силе мин, заложенных притом и не подо всеми его устоями; а мост через Южную бухту был уничтожен, как только надобность в нем миновала.

Черный дым занавесил к вечеру дня 28 августа дотлевающий Севастополь и от глаз его защитников, разбиравшихся по полкам, батальонам, ротам, командам, экипажам на Северной, и от глаз его врагов на Сапун-горе.

В этот день совершенно необычайная тишина упала на место состязания артиллерий русской и западноевропейской, состязания, длившегося почти год. Даже и ружья молчали в этот день там, где противники могли обмениваться ружейными пулями, — на Черной речке.

Понятна, конечно, была тишина эта.

Огромные потери, которые понесли интервенты при штурме, подсчитывались, приводились в известность и для реляций и для себя. Хоронили убитых, отправляли в тыл раненых, наскоро переформировывали полки.

Но вместе с тем главнокомандующие союзных армий не могли не задуматься над тем, что огромнейшие усилия и жертвы, затраченные четырьмя союзными державами Европы на совсем маленьком, ничтожно маленьком клочке огромнейшей, как Великий океан, русской земли, привели к ничтожным по существу результатам, а русская армия, переправившись на другой берег Большой бухты, заняла на третьей, Северной, стороне того же Севастополя позиции гораздо более сильные, чем те, наскоро сооруженные, которые уступила она после упорнейшей почти годовой борьбы...

Сколько же еще времени, средств и человеческих жизней потребуется на то, чтобы овладеть этой третьей стороной, где артиллеристы заняли уже свои места у новой тысячи орудий? И удастся ли это?.. И нужно ли это?.. А если нужно, то кому именно нужно и зачем нужно?..

Главкомандующие армии англо-французов узнали уже, что представляет собой русский солдат, защищающий родину. Они не преминули дать понять это и своим правительствам, отправляя донесения о штурме 8 сентября.

III

Генерал Симпсон, главнокомандующий армии королевы Виктории, вынужден был послать такую депешу:

«Суббота, 8 сентября, 11 часов 35 минут вечера. Союзники атаковали севастопольские оборонительные работы сегодня в полдень. Штурм Малахова увенчался успехом, и укрепление это во власти французов. Наша атака на редан не удалась».

Генерал Пелисье телеграфировал к концу дня 8 сентября:

«В полдень произведен штурм Малахова. Этот редут и второй бастион были взяты нашими храбрыми солдатами с восхитительным увлечением, при криках «Vive l'empereur!» Мы тотчас стали стараться утвердиться на этих пунктах и успели утвердиться на Малаховом. Мы не могли удержать второго бастиона по многочисленности неприятельской артиллерии, уничтожившей в самом начале все наши работы на этом пункте. Но эта артиллерия будет разбита немедленно, лишь только устроится наше положение на Малаховом. Та же участь постигнет и редан, исходящий угол которого наши храбрые союзники взяли с обычным для них мужеством. Но, как и на втором бастионе, они должны были уступить неприятельской артиллерии и сильным резервам. При виде наших орлов, парящих над Малаховом, генерал де Салль произвел две атаки на Центральный бастион (пятый). Они не удались; наши полки возвратились в свои траншеи. Потеря наша значительна; я еще не могу ее определить, но она вполне вознаграждена нашим успехом».

Если телеграмма Симпсона была откровенно уныла, то Пелисье пришлось прибегнуть к явной лжи, свалив неудачу войск на втором бастионе на русскую артиллерию, которой там уже почти не было. О том же, что штурм был отбит исключительно пехотными частями, он решил почему-то умолчать.

Телеграмма Горчакова царю, посланная в десять часов вечера 27

августа (8 сентября), была такова:

«Войска вашего императорского величества защищали Севастополь до крайности, но более держаться в нем за адским огнем, коему город подвержен, было невозможно. Войска переходят на Северную сторону, отбив окончательно 27 августа шесть приступов из числа семи, поведенных неприятелем на Южную и Корабельную стороны. Только из одного Корнилова бастиона не было возможности его выбить. Враги найдут в Севастополе одни окровавленные развалины».

Горчаков сдержал свое слово; Пелисье же, прогулявшись потом по этим развалинам и представив себе на месте более полно и правдиво картину действий своих, английских и русских войск на бастионах, писал в подробнейшем рапорте на имя военного министра о штурме Малахова:

«1-я бригада дивизии Мак-Магона: 1-й зуавский полк впереди всех, потом 7-й линейный, имея влево от себя 4-й стрелковый батальон, — бросились на левый фас и на исходящий угол Малахова. Ширина и глубина рва и высота эскарпа замедлили движение наших войск, однако же они смело достигли неприятельских парапетов. Русские схватились с ними на кургане и, по недостатку ружей, бьются лопатами, кирками, камнями, банниками и всем, что попадает под руку. Произошла одна из тех кровавых стычек, в которой только неудержимая стремительность наших людей могла дать перевес над противником. Солдаты вскочили в укрепления, оттеснили русских, старавшихся не уступить им ни шагу, и знамя Франции заколыхалось над Малаховом».

Неудавшийся штурм на пятый бастион изображался им так:

«На левом фланге, по данному сигналу, колонны дивизии Левальяна, предводимые генералами Кустоном и Трошю, бросились на левый фас Центрального бастиона и его левый люнет. Несмотря на град пуль, ядер и картечи, после краткой и живой схватки мы проникли в оба укрепления. Но противник, скрытый за траверсами, стоявшими последовательно один за другим, держался очень крепко. Убийственный ружейный огонь был направлен со всех возвышенных пунктов. Крепостные орудия других верков и полевая артиллерия, расставленная кругом в разных местах, извергали картечь и поражали

наших. Генералы Кустов и Трошю, будучи тотчас ранены, принуждены были сдать командование. Генералы Риве и Бретон были убиты. Множество взорванных фугасов замедлили наше стремление. Наконец, прибывшее к неприятелю сильное подкрепление заставило наши войска очистить занятые ими верки и ретироваться к ближайшим плацдармам».

В этом рапорте Пелисье подвел, наконец, итоги потерям союзных армий за время штурма восьмого сентября:

«Мы потеряли в этот приступ убитыми: генералов 5, старших офицеров 240, субалтерн-офицеров 116, унтер-офицеров и рядовых 4489; ранеными: генералов 4, старших офицеров 20, субалтерн-офицеров 224, унтер-офицеров и рядовых 4259; контуженными: генералов 6; без вести пропавшими: старших офицеров 2, субалтерн-офицеров 8, унтер-офицеров и рядовых 1400».

Списком этим охвачено до одиннадцати тысяч человек, но он был, конечно, далеко не полон: Пелисье не хотелось, конечно, слишком омрачать в Париже свой успех. По сведениям неофициальным потери союзников в этот день доходили до пятнадцати тысяч. Но если можно было произвольно сократить список выбывших из строя солдат, то сделать подчистку в списке убитых и раненых генералов и офицеров было нельзя: пятнадцать генералов и шестьсот офицеров, — таких потерь еще не имела армия интервентов ни в одном сражении в Крыму.

И, чувствуя, конечно, что приводимые им цифры произведут угнетающее впечатление и в Париже и в Лондоне, Пелисье добавлял: «Эти потери очень велики; многие между ними заслуживают особенного сожаления, но все-таки они менее страшны, нежели можно было ожидать».

Горчаков тоже исчислил свои потери при штурме в десять — одиннадцать тысяч человек, знаменательно также и то, что количество пленных, взятых той и другой стороною, оказалось почти равным.

IV

Только 30 августа сильный дождь, несколько часов подряд шедший над Севастополем, потушил пожар. Исчез дым, обнажились

почернелые развалины, между которыми сновали солдаты в цветных мундирах.

Но к этому дню все уже разобралось на Северной, стало на свои места, подсчиталось, подчистилось, приготовилось к новым боям за... Севастополь. А во всех ротах и экипажах читался в этот день приказ по армии, подписанный Горчаковым:

«Храбрые товарищи! 12 сентября прошлого 1854 года сильная неприятельская армия подступила под Севастополь. Невзирая на численное превосходство, ни на то, что город сей был лишен искусственных преград, она не отважилась атаковать его открытою силой, а предприняла правильную осаду.

С тех пор при всех огромных средствах, коими располагали наши враги, беспрестанно подвозившие на многочисленных судах своих подкрепления, артиллерию и снаряды, все усилия их преодолеть ваше мужество и постоянство в продолжение одиннадцати с половиной месяцев оставались тщетными. Событие беспримерное в военных летописях, чтобы город, наскоро укрепленный в виду неприятеля, мог держаться столь долгое время против врага, коего осадные средства превосходили все принимавшиеся доныне в соображение расчеты в подобных случаях.

И при таких-то огромных средствах, после девятимесячного разрушительного действия артиллериею громадных размеров, неприятель, неоднократно прибегая к усиленному бомбардированию города, выпуская каждый раз против одного по несколько сот тысяч снарядов, увидел безуспешность сей меры и решился, наконец, овладеть Севастополем с боя.

6 июня сего года он устремился на приступ с нескольких сторон, храбро ворвался в город, но был встречен вами с неустрашимостью и отбит на всех пунктах самым блистательным образом.

Неудача эта вынудила его обратиться по-прежнему к продолжению осадных работ, умножая свои батареи и усугубляя деятельность в ведении траншейных и минных работ.

Таким образом, со дня достославного отбытия вами штурма 6 июня протекло еще более двух с половиною месяцев, в продолжение коих, одушевленные чувством долга и любви к отечеству, вы геройски

оспаривали у неприятеля каждый аршин земли, заставляя его подвигаться вперед не иначе, как шаг за шагом, платить потоками крови и неимоверною тратой снарядов за одну сажень пройденного пространства. При такой упорной защите мужество ваше не только не ослабевало, но доходило до высшей степени самоотвержения.

При всем том, если неустрашимость и терпение ваше беспредельны, то есть вещественные пределы возможности сопротивления. По мере приближения неприятельских подступов, батареи их также сближались одна к другой; огненный круг, опоясывавший Севастополь, с каждым днем стеснялся более и более и все далее извергал в город смерть и разрушение, поражая храбрых защитников его.

Пользуясь таким превосходством огня на самом близком расстоянии, неприятель после усиленного действия артиллерии в продолжение двадцати дней, стоившего ежедневно нашему гарнизону потери от пятисот до тысячи человек, 24 августа начал адское бомбардирование из огромного числа орудий небывалых калибров, следствием коего было ежедневное разрушение наших окопов, уже с большим трудом и с самыми чувствительными потерями возобновлявшихся по ночам под безостановочным огнем неприятеля. В особенности главнейший из сих верков, редут Корнилова на Малаховом кургане, составлявший ключ Севастополя, как пункт, господствующий над всем городом, претерпел значительные неисправимые повреждения.

В таких обстоятельствах продолжать оборону Южной стороны значило бы подвергать ежедневно бесполезному убийству войска наши, сохранение коих ныне более, чем когда-либо, нужно для государя и России.

Поэтому с прискорбием в душе, но вместе с тем с полным убеждением, что исполняю священный долг, я решился очистить Севастополь и перевести войска на Северную сторону, частью по устроенному заранее мосту, частью на судах.

Между тем 27 августа неприятель, видя перед собою полуразрушенные верки, а редут Корнилова с засыпанными рвами, предпринял отчаянный приступ на бастионы: второй, Корнилова и третий; около трех часов спустя — на пятый и редуты Белкина и

Шварца!..»

Изложив вкратце ход дела 27 августа и результаты его, достаточно известные войскам, Горчаков писал далее:

«С наступлением темноты я приказал войскам отступить по сделанной заранее диспозиции.

Опыты мужества, оказанные вами в сей день, поселили такое уважение к вам, храбрые товарищи, в самом неприятеле, что он, хотя должен был заметить ваше отступление по взрывам наших пороховых погребов, не только не преследовал вас колоннами, но даже почти вовсе не действовал своею артиллериею по отступающим, что мог бы сделать совершенно безнаказанно.

Храбрые товарищи! Грустно и тяжело оставить врагам нашим Севастополь, но вспомните, какую жертву мы принесли на алтарь отечества в 1812 году. Москва стоит Севастополя! Мы ее оставили после бессмертной битвы под Бородином. Трехсотсорокадевятидневная оборона Севастополя превосходит Бородино!

Но не Москва, а груда камней и пепла досталась неприятелю в роковой 1812 год. Так точно и не Севастополь оставили мы нашим врагам, а одни пылающие развалины города, собственно нашею рукою зажженного, удержав за нами честь обороны, которую дети и внучата наши с гордостью передадут отдаленному потомству.

Севастополь приковывал нас к своим стенам. С падением его мы приобретаем подвижность, и начинается новая война, война полевая, свойственная духу русского солдата...

Храбрые воины сухопутных и морских сил! Именем государя императора благодарю вас за вашу твердость и постоянство во время осады Севастополя!..»

А вскоре после этого приказа пришел и приказ по армии и флоту самого царя:

«Долговременная, едва ли не беспримерная в военных летописях оборона Севастополя обратила на себя внимание не только России, но и всей Европы. Она с самого почти начала поставила его защитников наряду с героями, наиболее прославившими наше отечество. В течение одиннадцати месяцев гарнизон севастопольский оспаривал у

сильных неприятелей каждый шаг родной, окружавшей город земли, и каждое из действий его было ознаменовано подвигами блистательнейшей храбрости. Четырехкратно возобновляемое жестокое бомбардирование, коего огонь был справедливо именуем адским, колебало стены ваших твердынь, но не могло потрясти и умалить постоянного усердия защитников их! С неодолимым мужеством они поражали врагов или гибли, не помышляя о сдаче. Но есть невозможное и для героев.

Скорбя душевно о потере столь многих доблестных воинов, принесших жизнь свою в жертву отечеству, я признаю святою для себя обязанностью изъявить, от имени моего и всей России, живейшую признательность гарнизону севастопольскому за неутомимые труды его, за кровь, пролитую им в сей, продолжавшейся почти целый год, защите сооруженных им же в немногие дни укреплений...

Имя Севастополя, столь многими страданиями купившего себе бессмертную славу, и имена защитников его пребудут вечно в памяти и сердцах всех русских совокупно с именами героев, прославившихся на полях Полтавских и Бородинских, в битвах под Чесмой и Синопом». Приказы эти были прослушаны с надлежащим вниманием, и защитники Южной и Корабельной сторон принялись за укрепление новыми батареями, валами и блиндажами Северной стороны, и скоро через широкий Большой рейд, из вод которого выглядывали здесь и там мачты затопленных кораблей, начали летать с одного берега на другой приветственные бомбы и гранаты.

Однако вяло уже, устало начали теперь постреливать интервенты и с большой оглядкой на Париж, — не заскрипят ли там по-особому желанные перья дипломатов: слишком трудной, слишком вязкой, слишком непроходимой оказалась русская земля и очень вреден для здоровья крымский климат.